

123216
12121111

3456789

0123456789
0123456789

Карелин Лазарь Викторович

Последний переулоч

Роман

1

Зной. Июль. Москва.

Он жил в Последнем переулке, есть такой в Москве, в Москве все есть. И был этот переулоч не где-то на краю города, а в самом центре, в серединной Москве, стекал от Сретенки к Трубной улице, к Трубной и Самотечной площадям, к Центральному рынку. Рядышком стекал с Большими Сухаревским, Головиным, Сергиевским переулками. Вон как, все большими, хотя и кривенькими и горбатенькими. Рядом стекала и улица Хмелева, бывший Пушкарев переулоч, Колокольников и Печатников переулки. Стародавняя Москва, с лихой некогда славой, с общим прозвищем, начиная от Трубной, - Грачевка, или Драчевка, так прозванная по церкви Николы на Драчах, - с общей целью послужить Сухаревской толкучке, страстям и вожделениям этого московского торжища, где все продавалось и покупалось.

Да то давно было. А сейчас был зной, июль, и тихий горбился переулоч с наспех отремонтированными к Олимпиаде домами и домишками, в иных из которых все же проглянула после ремонта былая их легкомысленная слава, веселые эти завиточки на карнизах и наличниках, а горячий воздух тут был все тот же, как и в пору, когда места эти были отведены для "публичных домов", для падших женщин и падких мужчин. Слова-то какие высокие: публичный дом. А суть-то какая низменная. Раньше говаривали: места, отданные на потребу "общественному темпераменту". И, боже мой, что за люд тут селился, чтобы нажиться на этом темпераменте!

Он шел, посвистывая. Легко ему было на душе, сухой он был, поджарый, длинноногий, спортивный, свой вес не чуял, а слышал лишь в себе веселость, готовность к встрече с друзьями-приятелями, к встрече с каким-нибудь вдруг чудом, с удачей, со счастьем. Так идет, выступает молодость. А он и был молодым, славным парнем. Не сосунком, нет, уже поклеванным чуток жизнью, но молодым, упругим, не без заносчивости, сокрытой благожелательной, от души, улыбкой.

Геннадий Сторожев, житель сих мест, родившийся в этом переулке, - вот он, перед вами. Двадцати шести лет от роду, в армии отслужил, в институт не попал, да и не рвался особо, большим мастером в каком-либо деле еще не стал, да и не стремился особо, но в своих присретенских, притрубненских переулках слыл мастером на все руки, то бишь умел и проводку провести, и кран починить, а надо, и телевизор взбодрить. Умелость эта и определила ему должность - он был рабочим в местном жэке, бегал по вызовам. Не бегал, конечно, а вот так вот шел, по-журавлиному вскидывая длиннющие ноги, с приветливой улыбкой этой, обращенной ко всем тут окнам. Одет он был просто, но красиво. В фирменных джинсах был, а как же, перепоясанный вольно, со спуском, армейским ремнем со звездой на пряжке - знай наших! - и в рубаше, явно заморской, с погончиками, расстегнутой почти до пупа. Рукава подвернуты на ширину манжеты. Стиль!

Жару он любил. Эту вот пору летнюю, когда заметно пустеет Москва, а уж переулочки и подавно, когда Москва будто роздых берет от людей и машин. Жара тогда становилась сродни тишине. Сельский житель толкует про свои опушки, полянки, рощицы. У москвича тоже есть любимые места - закоулочки, переулочки, свои деревья, скверики, скамеечки. Но только это все сутолокой и гулом потеснено. А в тихую минуту все это к нам возвращается. И почему-то непременно вспомнится детство или вот такая молодая пора, какой жил сейчас Геннадий Сторожев. И он когда-нибудь вспомнит себя, сегодняшнего, этот зной июльский, горбатый этот пустынный переулок, себя на мостовой, себя, посвистывающего, и поймет, вспомнив, что был тогда, много лет назад, счастлив.

Да, по Последнему переулку шел сейчас счастливый человек, того, разумеется, что счастлив, не ведая. Счастье потому и счастье, что не осознается. Но - это уже спорная мысль.

Геннадий шел без особой цели, на встречу со случаем. Вдруг да дружка встретит, вдруг на удачу набредет. Вообще шел, но с надеждой, ибо приключение жило в самом этом жарком воздухе.

Но сперва он набрел на древнюю старуху, сохлую и изогнутую, как стручок перца. На плече у этого стручка сидел большой желтый попугай, такой старый, что уже и глаза на мир окрест не открывал. Черная шелковая лента, приковавшая его к старухе, а старуху к нему, аксельбантом легла на кофточку древней женщины, кокетливую, в кружевах и бантиках, которые помнили, должно быть, свою хозяйку молоденькой барышней.

- Геннадий, друг мой, - сказала старуха хриплым голосом попугая. - Сам бог послал тебя мне навстречу. Мон Дье, ты должен ссудить меня двадцатью копейками на кружечку пива.

"Мон Дье!" - повторил попугай, не открывая глаз, голосом старухи.

- Вместе и поьем, - сказал Геннадий, искренне обрадовавшись старухе. Приглашаю, Клавдия Дмитриевна. Вы заглядывали, народу много?

Разговаривая, они переступали шаг за шагом вниз по переулку и как раз вышли к глухому строению на углу, за утлыми пластмассовыми стенами которого неумолчный стоял гул, будто там обосновалась пчелиная семья, но из страны Гулливеров.

- Как обычно, мой друг, по пятницам. Вслушайся, как гудят эти трутни. Благодарю, я принимаю твое приглашение. Ты добрый юноша.

Согнувшись, Геннадий подхватил старуху под сохлый локоток, и они стали взбираться по крутому склону, ведущему во двор между ветхими домами, в просвет, выводящий в Большой Головин переулок, лицом в который и стоял этот пластмассовый пивной рай.

Людно тут было, шумно. Звенели водяные струи, пущенные торопливыми руками, чтобы поскорей вымыть кружку, шипело пиво в автоматах, вицеживавших строго триста восемьдесят пять граммов в ответ на опущенный двугривенный, что и было подтверждено соответствующими надписями. Порядок, точность, равенство возможностей, столь любезные сердцу мужчины, особенно после двух-трех кружечек, тут соблюдались неукоснительно. И можно было тут посудачить. От души, во весь голос, про что угодно, хоть с знакомым, хоть с незнакомым. Этим и занимались. Всяк в отдельности и все вместе. Гул, казалось, стал зримым, клубился, вырываясь на улицу. Но в тесноте этой и шуме отчетливо угадывался порядок, соблюдалась очередь к мойкам и автоматам, поддерживалась деловая уважительность к совершаемому каждым обряду. Воистину улей.

Геннадий отлично тут ориентировался, знал заветные уголки, где непременно стоят пивные кружки, знал кратчайшие пути к автоматам, нашел мигом и место для своей дамы и для себя у стойки. Их здесь знали, они здешними были, а это тоже входило в ритуал: здешних, что

возле бара живут, следовало уважать. И в ритуал заведения этого, не хуже чем в чопорном английском клубе для аристократов, входила этакая мужская индифферентность к окружающему. Никто не тарасился на старушку и ее птицу, никто не пытался заговорить с попугаем, как бы сделал это на улице, поводя пальцем у его клюва.

Свобода личности, свобода выбора царили здесь, ну и, разумеется, свобода слова и свобода закуски. Кто что принес, то и пережевывал, запивая пивом. Сушеная рыбка, сухая колбаса, плавленый сырок "Дружба". Тарелок там, вилок не было и в помине. Да и зачем они? Руками, поддев на перочинный ножичек, с газетки - так же слаще, вольготней. Вот это главное - вольготней. Вырвавшимся сюда из домашних запретов мужчинам вольготность и была надобна.

В том углу, куда пробрались Геннадий и старуха, спиной к ним, лицом в самый угол стоял коренастый, плотный и со спины осанистый человек с седеющим сильным затылком. Костюм на нем был из дорогой ткани, заморского шитья, обувь тоже была заморская, легкоступная. Старуха лишь глянула, удивилась, даже изумилась, но смолчала. Удивился и Геннадий, глянув в эту спину, и тоже промолчал.

- Мон Дье, - сказала старуха, а может быть, это сказал попугай. - Какое скверное пиво и как я его люблю!

- Почтение, Клавдия Дмитриевна, привет тебе, Геннадий! - коренастый человек обернулся, приподняв кружку.

- Мон Дье! - проскрипел попугай.

- Что, не ждал меня здесь? Здравствуй, земляк. Все еще живой?

- Он моложе нас с вами, Рем Степанович, - сказала старуха.

- Ну да, да, в сопоставимых ценах. Что для попугая какие-нибудь сто лет.

- Он наверняка знал вашего деда. Он забавлял вашу матушку, когда она еще сидела в колясочке. Я получила его в подарок от мадам Луизы, когда мне было восемнадцать лет, и он уже был мудр. Мон Дье, кажется, что это было вчера.

- Древняя, древняя птица. Мне тоже кажется, что я только вчера вас встретил, Клавушка, а ведь вся жизнь уже проскочила. Скверное пиво. Надо будет распорядиться. Непорядок. А! - вдруг выкрикнулось у него. - А где он порядок, где?! - Он ужал губы, сильный, упрямый рот. Потом улыбнулся, крепкие показав зубы. Он как бы отдавал сам себе приказы: замолчать, улыбнуться. И вот опять заговорить - чуть свысока, сановно, благожелательно: - Ну как вы тут живете-можете? Какие у нас проблемы? Переселять не собираются? Чем-нибудь помочь?

Старуха задумалась, склонив к плечу голову, совсем так, как ее попугай. Стоит ли говорить, что и лицом она была похожа на своего попугая и даже цвет зеленоватый его впалых щек переняла. Вот только глаза: на старушечьем лице они жили, а у попугая спали. И вот этими блеклыми, но живыми глазками старуха сейчас впилась в лицо сановного Рема Степановича, решая, разгадывая его загадки.

- Неприятности у вас, - не спросила, а определила старуха.

Твердощечное, налитое лицо с коротким вздернутым носом чуть только дрогнуло, тотчас же еще тверже став.

- С чего взяла?

- Вижу. Да и сюда бы просто так не забрели. Здесь двугривенники собрались, а вы...

- Не оценивай, не знаешь ты моей цены, представить не можешь. - Рем Степанович вдруг повеселел, даже рассмеялся, какой-то своей мысли рассмеялся и спорить раздумал, уступил:
- Да, старая, неприятности, угадала. Похуже даже, чем неприятности. Обвал в горах. - Он посмеиваясь произносил эти слова. Круглым, славным сделалось его лицо от посверка улыбок, курносый, мальчишеский. Показалось, что не седой он вовсе, а белесый, не за пятьдесят ему, а паренек еще совсем. Так преображает улыбка, смешливый миг редко кого, но этот из редких, обязательно взыскан судьбой, наделен обаянием сверх всякой меры, бесценным этим даром на жизненном пути. - Гена, а ведь ты мне нужен. Собирался искать тебя. А ты - вот он, в питейном заведении. Да еще с дамой. Разлучить-то вас смогу ли?

- Ах хорош, ах красив! С такими лицами купцы последние сотенные у нас прогуливали, а потом стрелялись. Сколько случаев помню. Банкроты! Но хороши были, хороши! Русский человек в отчаянии хорош!

- Не каркай, старая. - Соскользнуло с лица Рема Степановича бывшее, он вернулся в сегодня, к своим за пятьдесят годкам, к бывалости, жесткости, может быть, и неумолимости. Теперь все в нем совпадало: и отличный костюм, и твердый, чуть брезгливый ужим губ, и башмаки не вчерашней, а завтрашней востроносости, и едва наметившиеся брыли над впившимся в шею воротничком белоснежной рубахи, и все еще держащие голубизну усталые глаза.

- Не гневайся, не гневайся! - и так и сяк клоня сохлую головку, все вглядываясь, догадываясь, забормотала старуха. - Бог наказал, мне бы поглупеть, да нету роздыха. Спасибо, Генушка, должок за мной. Пошли отсюда, Пьер, напотчевались.

Пьер пробудился, чуть приподнял вековые веки.

- Мон Дье, - сказал он, имея в виду: "Да, да, наговорились, пора и на покой".

- Зайдем ко мне, - сказал Рем Степанович и дружески взял Геннадия под руку. - Занятная старушенция. Ей, никак, близко к ста? А знаешь, кем она была в свои молодые годы?

Геннадий промолчал.

- Да... - тоже промолчал-протянул Рем Степанович. - Но за давностью лет, смотри, стала совестью нашего переулка. Правдовысказывательницей. Легендохранительницей. С ней только столкнись нос к носу.

Они вышли в Головин, спустились через проходной двор в свой Последний, вступили в тишину и безлюдье.

2

"Ко мне..." Никогда Рем Степанович не звал Геннадия в свой дом, да и никого не звал из здешних. Когда ремонтировать его надумал - было это года три назад, Геннадий тогда уже работал в жэке, - Рем Степанович жэковских рабочих и близко к ремонту не подпустил, свою бригаду пригнал. Народ в этой бригаде был молчаливый, гордый. Все в спецовочках на молниях. Никто из них даже в пивную не заглянул - ни сюда, в Головин, ни в бар в Печатниковом. Приезжали на работу в шикарном автобусе. Материалы привозили в крытых фургонах, мебель привезли в громадных контейнерах, распаковывали, подогнав машины вплотную к дверям. Красные японские иероглифы выплясывали на гофрированном картоне. Ребятишки потом долго играли с этой гофрой, выброшенной на помойку, строили дома и крепости.

Сантехник было толкнулся в дверь после ремонта, мол, надо ведь проверить. Повернул его Рем Степанович. Не обидел, зачем же, с сотнягой в руках оставил. Участковый было хотел заглянуть. И этого повернул. С сотней ли, с чем-то еще, или только с помощью слов - неведомо.

А, кстати, дверь входная в квартиру отремонтированную так и осталась обшарпанной. Да и рамы оконные не заменили и не покрасили даже. Рем Степанович, провозжая через двор участкового, оказывая ему уважение, объяснил, что не хотел нарушать внешний вид старого дома, ставить на него новенькую заплату. Иное дело - внутри, это, мол, его собственное дело.

Квартира в этом ветхом трехэтажном доме, вставшем между переулками, но все же чуть вступив в Последний, от которого дом отгородился вековым тополем - укромный домик был, всегда таким был, - квартира в этом доме, на втором этаже, угловая, принадлежала еще деду Рема Степановича, как и весь дом, где на третьем этаже будто бы квартиранты жили (не квартирантки ли?), второй занимали хозяева, а в первом был магазин. Тут чуть не в каждом доме тогда в первых этажах располагались магазины, лавчонки, разного рода и вида питейные заведения. Сын за отца, говорят, не отвечает, а уж за деда и подавно. Рем Степанович никогда и не скрывал, что дед его тут поторговывал когда-то. Но вот именно - когда-то, да и купцом был явно захудалым. Отец Рема Степановича уже был советским служащим, чуть только прихватившим от нэповской лихорадки.

Рем Степанович ремонтировал эту родовую колыбель не для себя - для престарелой матери, одиноко доживавшей тут свой век. Сам же Рем Степанович давно покинул свой родной переулок, жил где-то рядом, в Москве же, да в ином ряду, так сказать, в белокаменном. Редко когда навещал он мать, недосуг, возносила судьба, легендой становился он для своего переулочка, тут стали гордиться им, отсюда, если очень уж припекало, гонцов слали к нему. Он помогал, от своих не отмахивался. Кому с ремонтом, кому с пропиской для родственника, а это не просто в Москве, кому с пересудом, с пересмотром срока, если кто из последненских усаживался на скамью, а уж это и совсем не просто. Помогал, помнил корни.

И сыном был хорошим, заботливым. Вон какой ремонт для матери отгрохал. А потом, когда мать болеть начала, вскоре после этого ремонта, забрал мать к себе на дачу. Опустела квартира, зря ремонтировал. Но родное все же гнездо. Рем Степанович нет-нет да и наезжал сюда. Иногда не один, с друзьями. Ну что ж, гости солидные, не шумные - вышли из машины и нет их. А для переулка, для Последнего-то, все-таки честь. И узнаваемые лица порой мелькали, важные на Москве персоны. Честь, честь для переулка. Иногда проскальзывали за дверь и женщины. Ну что ж... А вот из здешних в дом свой, в квартиру эту отремонтированную, Рем Степанович не пригласил никого. Ни разу. Тут он, видно, решил дистанцию соблюсти. И вдруг позвал: "Зайдем ко мне..."

Пока подходили к дому, почти отгороженному от глаз могучим стволом тополя, им пересек дорогу широкоплечий сильный мужчина, на плече у которого сидела крупная длиннохвостая мартышка, зеленая-презеленая.

- Надо же?! - изумился Рем Степанович. - И обезьяна у нас завелась! Он даже повеселел. - Вот переулочек, не соскучишься. Того и гляди между домами проглянет синее море. Моряк какой-нибудь у нас тут обрел пристань?

- Моряк, - подтвердил Геннадий. - Познакомить?

- Хватит мне на сегодня попугая. Ну, милости прошу.

Они взошли на ветхое крыльцо. Рем Степанович повозился с ключами, распахнул скрипкую, обшарпанную, но по-старинному тяжелую дверь. Да и ручка дверная была массивная, витая, из бронзы.

- Все дивлюсь, что эту ручку никто не отвертит, - сказал Рем Степанович. - Не ценят тут у нас модных вещиц. Это добрый признак, впрочем. Сиюминутных выскочек у нас тут нет. Новенькие сюда не въезжают; жаль, что старенькие съезжают. Ваш-то дом как? Вроде бы солидное строение.

- Нас никто трогать не собирается. Пять этажей. Лифт.

- Главный гигант был в нашем переулке. Теперь-то вон - башню отгрохали панельную. Что там за народ?

- Такие же, как и мы.

- Как и мы... Ступай, ступай, Гена, вверх по лесенке. Как и мы! А какие мы - эти мы?

- Я вас не хотел обидеть, Рем Степанович.

- Ты и не обидел. Польстил, если хочешь. А вот и дверь в квартиру матушки.

Это тоже была старая, обшарпанная дверь. Видно, и на лестничной площадке не желал Рем Степанович ставить цветные заплатки - тут все вокруг было старым, обветшалым, но и прочным на глаз, по-прочному строилось. Но дверь, хоть та же все, от былой поры, была так утыкана новенькими, самоновейшими, видать, с шифром замками, что стальные эти квадраты и овалы все-таки выглядели заплатками - блестящими, новенькими, - казались стальными коронками в щербатом рту.

Рем Степанович, перебирая связку ключей, пощелкал замками, у которых у каждого был свой голосок, мелодичный, отчетливый, - и дверь медленно, тяжело стала отворяться. Слишком тяжело для деревянной двери.

- Стальной лист в дверь вставили? - спросил Геннадий.

- Что-то в этом роде, друг мой слесарь. Да ты кто у нас - слесарь, электрик, водопроводчик?

- Всего понемножку, исключая канализацию и теплофикацию. Что у вас стряслось?

- Да тут ты не поможешь, - снова отчего-то развеселился Рем Степанович. - Стряслось... Входи, Геннадий. Глянь, хорош ли ремонт.

Геннадий вступил в сени, тускло осветившиеся лампочкой с очень высокого потолка. Похоже было, что ничего тут никогда вообще не ремонтировалось. Пыльные стены, старые шкафы, зашарпанные половицы.

- Решили сени сохранить для музея? - спросил Геннадий.

- Догадливый. Вот, мол, с чего мы начинали.

- А если кто войдет из незваных, так тут его и принять? - спросил Геннадий.

- Куда как догадливый! Московский паренек, тутошний. А ведь мы, тутошние, головастые, а? Тетка-то жива?

- Жива.

- Все на машинке стучит? Работы хватает?

- Стучит. Хватает.

- Поклон Вере Андреевне от меня. И мое когда-то печатала. Я смолоду в журналисты чуть

было не подался. А вот кухня. Входи, Гена.

Еще одна открылась старая дверь, тяжело тоже, со стальным тоже листом, и Геннадий встал на пороге кухни. Он знал, что новизна ударит в глаза, ведь был тут ремонт, свозилась сюда всякая всячина, но, как говорится, действительность превзошла все его ожидания.

Просторная - от старого дома простор, - эта кухня была будто выставкой новейших достижений, какие иногда устраиваются в павильонах в Сокольниках. Нет, где им - павильонам. Геннадий бывал на этих выставках, - куда им!

Громадная электрическая плита - ну пускай. Громадный, во всю стену, холодильный шкаф - ну ладно. Холодильник под потолок - и это видали, финский, знаем. Но вот бар при кухне - со стойкой, с вращающимися высокими сиденьями, с такой стеночкой из вин, что закачаешься, еще их не отведав, но ящик цветного телевизора, повисший в углу на гибком креплении - куда хочешь, туда этот ящик и волочешь, но вот кухонная панель, все эти шкафчики, ящички, и все из бронзы, неблескучей, тусклой, благородной, и вот из такой же бронзы нависший над столом вытяжной потолок, но вот... да не счесть этих "вот", это все внове было для Геннадия, не видал он этого всего на выставках, хоть наших, хоть ихних.

- Да! - сказал он радостно-изумленно. - Вот это вот да!

- Не завидуешь? - внимательно глянул ему в глаза Рем Степанович. - Нет, не завидуешь. А иные мои гости, дружки из самых-самых, темнели ликом. Ты другой. Молодец за это. Хотя как взглянуть. Иной потому не завидует, что о чем-то подобном для себя и не мечтал. Не знаешь - не желаешь. Искусить можно лишь осведомленного. Ты хоть в кино-то видел когда-нибудь такую кухню? В американских этих боевичках?

- Честно скажу, нет.

- А она вот она - в нашем Последнем переулке. Люблю удивлять, пошли дальше. Но только, Гена, Геннадий ты мой дорогой, уговор: молчок, а? Условились? По-мужски, а?

- Условились.

Дверь из кухни не открывалась, а отодвигалась, она была из двух широких створок, и Рем Степанович разом обе размахнул, они легко покатались по стальным желобам. И разом открылась перед Геннадием громадная комната (зал, что ли?), где был камин, где кресла выгораживали стол у стены и стол у окна. А окна, их ведь и не было, они лишь угадывались за матовыми экранами, которые вдруг начали разгораться, даря комнате дневной, но не с улицы, где зной был, а кроткий какой-то, будто певучий свет. Чего тут только не было, в этой гостиной, если взглянуть. А если не вглядываться, то все эти кресла, столы, столики, камин этот, картины на стенах и ковры на полу - все здесь в глаза не лезло, скромненько будто бы держалось, не выпячивало себя. Геннадий понял, угадал, что это и было самым главным тут признаком богатства, вот это вот, что им тут не бахвалились. Он понял, догадался про это. Такой угадливости можно и обучить, натаскать можно, но может и без натаскивания понять человек, что к чему, хотя и попал в непривычное для себя, в загадочное.

- Так, наверное, очень богатые люди живут, - сказал Геннадий.

- Верно, не бедные, - согласился Рем Степанович. - А почему я должен быть бедным, Гена? Этот дом - он ведь по наследству мой, весь дом. Но это пустяк. Я от деда своего, от отца, от предков всех иное, надо думать, наследство получил. Оно в крови у меня, в башке у меня. Куда с этим? Выбросить? Национализировать? Ладно, пошли дальше.

Слева от камина просто простенок был, но Рем Степанович подошел к камину, нажал не приметную кнопку - и простенок поехал за камин, открывая проход.

- Следуйте за мной, уважаемый товарищ! - голосом экскурсовода сказал Рем Степанович. - А вот этот вот домашний, отчасти интимный кабинет уроженца сих мест Рема Степановича Кочергина. Прошу учесть, вход сюда по особым пропускам, имя которым - "доверие".

Геннадий Сторожев переступил порог, ощутив озноб, как там, на улице, под палящим солнцем, когда кровь загорелась. Но этот озноб был не от зноя, а от тайны, от вступления в это вот "доверие", которое исходило от человека очень и очень не простого, самого по себе таинственного.

- Когда матушка по болезни уже не могла жить одна, переехала в мою семью, - идя следом за Геннадием, пояснил Рем Степанович, счел нужным пояснить, - я приспособил это родовое гнездо, так сказать, для себя. Бывает, надо где-то и отсидеться, отдышаться, отгородиться от людского гама. Ну?

А что - ну? В этой сравнительно небольшой комнате, как и в той, вроде зала, богатство было таким богатым, что уже и не чванилось. Конечно, были тут и транзисторы-звери - видали мы такие транзисторы и такие магнитофоны, все эти "Филипсы", "Сони", "Шарпы" видали. Много раз бывал Геннадий в комиссионном магазине у площади Восстания, дивился на эти ящики и ящички, поражавшие воображение и видом и ценой, с тремя нулями все ценой. Приезжал, взглядывал, уезжал. Накопил все же на магнитофончик, сделанный в Гонконге. Три сотни отдал. Ничего, работает.

Нет, не в аппаратуре этой, которая всюду виднелась, тут было дело. И не в письменном громадном столе на львиных лапах, заставленном, заваленном занятными вещицами, голенькими бабенками из дерева, из кости, рыцарями в латах и на конях, зажигалками, один к одному похожими на настоящие "Люгеры" и "Кольты". Все это удивляло, манило, не без этого, - но не в этом навале всякой всячины тут было дело.

Изумила Сторожева библиотека. По своим обязанностям электрика он частенько бывал в квартирах, где полки прогибались от книг. Все больше новеньких, все чаще одних и тех же. Шли подписки - шли ко всем. Дюма этот, Паустовский, скажем, Грин, к примеру, - эти красно-зелено-коричневые корешки были на каждой полке, куда ни зайди, если, конечно, в доме собирали книги.

А тут на полках от пола до потолка, и у одной стены, и у другой стояли старые книги, в потертых из кожи переплетах, а то и в матерчатых переплетах, а то и в серебряных окладах, как иконы. А в книжном шкафу возле стола теснились книги такие зачитанные, с такими истрепанными корешками, будто в шкафу том была толкучка, с рук шла продажа, как на Птичьем рынке по субботам.

- Книжки-то вроде читаете, а не складируете, - сказал Геннадий.

- Вот именно! - хмыкнул Рем Степанович. - Точно словечко нашел. Нынче культура все больше складируется. Мол, имеем. А вот - разумеет ли?

- А я вас за читателя не считал, - сказал Геннадий, робко беря с полки толстый том, переплетенный в затканную цветами штофную ткань. - О, как угадал! Книга про Москву. - Он раскрыл книгу, прочел на титуле: - "Прогулки по Москве и ее художественным и просветительным учреждениям". Люблю читать про Москву. Как угадал.

- А у меня тут вся стена "про Москву", - сказал Рем Степанович. - И я люблю - про Москву, вообще историю люблю. Я сперва чуть было историком и не стал. Потом чуть было журналистом, а уж потом...

- "Москва. Издание М. и С. Сабашниковых, 1917", - прочел Геннадий. Может, за день до революции издали?

- Не исключено. За день многое случиться может. Но история, Гена, тем и хороша, что учит нас, грешных, не страшиться за свою участь. Все уже было. И кровь и смерть. Все было! И предательство и коварство! И глупость, глупость, без меры глупости! - Он вдруг на крик сорвался. - Кого не люблю, так это глупцов! Страшись дураков, Геннадий!

- А их и нет, дураков-то, - сказал Геннадий. - Кого ни послушай, он себя умным считает. Другой кто у него дурак, а он - умный.

- Метко замечено. - Рем Степанович быстро глянул на Сторожева. Так взглядываем мы, когда удивит нас человек, когда переоценку мгновенно ему делаем, повышая или понижая в цене. И Рем Степанович будто озяб вдруг у себя в доме, плечи руками обхватил, присел на краешек дивана, сгорбился, задумался, стал сам на себя не похож, сильный этот человек. - Метко, метко замечено. В том смысле, что не заносись.

- Я не про вас, Рем Степаныч.

- А я вот про себя подумал. Умный? Ум, как товар, его взвесить можно. Оплошал, значит, дурак. Клади на весы, гляди, сколько потянет твоя дурость. Пять могут дать, десять, пятнадцать, вышку. Это - гири. Не стану таиться перед тобой, Геннадий Сторожев, да и молва вот-вот принесет в Последний наш переулочек, что оплошал Кочергин, подзапутался. Сам ли, его ли... - какая разница. Оплошал, значит, сглупил. Теперь все дело в том, какую гиришку мне навесят. А может, и обойдется? Может, и извернемся? А?! Как думаешь?! - Рем Степанович вскочил, отшвырнул руками холод с плеч, взбодрился, повеселел мигом, как если бы кто скомандовал ему: "Быть веселым!" Он сам себе и скомандовал. Управлял собой человек, умел повелевать собой. Был у Геннадия Сторожева тренер, когда Гена играл в хоккей, так вот этот тренер любил всякие присказки. К примеру, "глаза боятся - руки делают". Или "умей владеть собой". Как это - владеть собой? Туманное пожелание. А вот Рем Степанович умел владеть собой. Больно ему, аж криком кричит, но - справился, овладел собой. Молодчага мужик.

- Вы спортом никогда не занимались, Рем Степанович? - спросил Геннадий.

- В юности шайбу гонял.

- И я тоже! - обрадовался Геннадий.

- И сейчас играешь?

- Бросил. Травм много нахватал. У нас как? Если не умеешь по шайбе, бей по игроку.

- Да, да, всеобщий закон. Помнится, после какой-то драки я и сбежал из команды. Мы марьинорощенских тогда переиграли. Ну и грянул бой-мордобой. А было это на пруду в парке ЦДКА.

- ЦСКА, - поправил Сторожев. - Я тоже там играл.

- Была армия Красная, стала - Советская, а пруд все тот же. Выходит, мы с тобой одноклубники, Гена?

- Выходит.

- В Англии бы это много значило. С одной улицы, из одного клуба, наверняка, хоть и в разное время, в одной школе учились. В Малом Сухаревском школа? Номер 137?

- Она.

- Тогда мы с тобой роднее братьев. Если, конечно, на Англию равняться. Традиции. У них

традиции - святая святых. А мы что, без рода, без племени, без традиций? Не верю. Вот взошел в свой Последний переулочек - я сегодня сюда нарочно пешком пошел, думается лучше, - и сердце согрелось. В пивную вошел, в шалман этот грязный, а мне еще лучше стало, помолодел будто. Потом вас увидел. Поверишь, попка этот столетний мне как родной. Верно ведь, что деда моего знал. И тебя я люблю, Геннадий. Ты - нашенский паренек, смелый, умный, гляжу, да, умный, чуток лукавый, гляжу, а что, а так и надо, но открытый ты, ясный и надежный - верю в это.

- А в шкафу у вас что за толкучка? - спросил Геннадий, отводя глаза от цепко всматривавшегося в него хозяина дома. И пошел к шкафу, удаляясь от зорких этих глаз.

- Там у меня детективы собраны. Говорят, у академика Александрова собрание побольше моего, но это еще доказать надо. Он переводы не заказывает, а я стал заказывать. Всю Агату мне перевели. Читал Агату Кристи?

- Кажется.

- Неуверенно отвечаешь. Дружить станем, дам тебе почитать. Прилипнешь к этому шкафу, не оттащить будет. Говорят, у кинорежиссера Леонида Трауберга тоже порядочное собрание. Но не думаю, что мое беднее. Он, может, и дольше собирал, а я больше плачу. Так вот, Гена, слушай, чего я от тебя хочу. Ты сядь, сядь, книжки потом. Тут ты еще и посмотришь и потрогаешь, если сладимся. Видеомагнитофон в углу стоит, видеокассет с фильмами целый ящик. Есть и про голеньких, если потянет. Но сперва - дело. Выпить не хочешь? Ты садись вот сюда, напротив. Давай пивком продолжим, раз уж с пива начали. Рем Степанович обернулся, не вставая нажал кнопку в спинке дивана, и отвалилась из угла панель, мягко выдвигая заискрившийся бутылками и пивными заморскими банками бар. - Давай прямо из банок тянуть. Как в детективах, как гангстеры эти хлещут. Держи. Дергай за колечко. Вот так вот.

- Я умею, приходилось, - сказал Геннадий Сторожев и потянул, как за предохранительную чеку у ручной гранаты, за колечко на крышке вызолоченной пивной банки.

Раздался сперва у Кочергина тихий хлопок, как выстрел бесшумного пистолета, потом у Сторожева такой же хлопок.

- Обменялись выстрелами, - сказал Рем Степанович. Он запрокинул голову, глотая пиво.

Геннадий, не боясь встречного взгляда, поглядел на него. Сильный человек, богатый, взысканный - вон какую квартиру себе отгрохал, бесстрашный, азартный, смелый, надо думать, раз смолodu в хоккей играл, а Геннадию вдруг стало его жаль. И не потому, что какие-то там неприятности у него, размера этих неприятностей Геннадий представить не мог, он почти ничего не знал о деятельности Рема Степановича, знал, что начальствует где-то в Москве по торговой части, все может достать, во всем может помочь, а стало быть, и вывернуться сможет, хоть и жалуется и паникует вот, срываясь на крик. Нет, не потому вдруг пожалел этого сильного человека Геннадий Сторожев, что свалились, обрушились на него какие-то неприятности. Об ином угадалось. Одинок этот человек. С первым встречным принялся делиться своими бедами. Кто ему - Генка Сторожев? А как раз и тот самый первый встречный.

Геннадий перевел глаза в искристое нутро маленького бара, где было зеркало, чтобы и на себя глянуть, - на первого этого встречного. И не узнал себя, узрев чье-то бледное, в изломах лицо среди бутылок с яркими этикетками. Чужой и издали смотрел на него человек, то исчезая, то возникая, выныривая, будто тонул он там, в слепящей водной зыби.

- Собственно, у меня к тебе дело совсем небольшое, - заговорил Рем Степанович. - Ты здешний, к тебе тут все пригляделись, и ты тут всякого знаешь. Посторожил бы ты мою

квартирку с неделю-другую, Гена. А? Когда и вместе будем время коротать, почитать эти книжечки будешь, видеокассеты запускать, бары, холодильники в твоём распоряжении. Когда и без меня тем же будешь заниматься. Только никого не приводи, одно условие. И молчок, что тут углядел. Впрочем, секрет ненадолго, как думаю. Ну что ещё? Если кто постучится к нам, встретить его в сенях, а дальше не пускай, если я сам дверь не отворю, глянув в глазок. Что ещё? Ну, может, на рынок тебя попрошу сбегать, прикупить свежего мяса. Рынок-то рядом, труд невелик. Что, что ещё? Ну, записочку какую-нибудь попрошу отнести приятелю, ответ принести. У телефона, знаешь ли, иногда уши начинают отрастать. Зачем нам уши? Вот и все, знаешь ли, вся работа. Считай, в секретари тебя свои нанимаю недельки на две. А сдружимся, а я верю в это, а повезет если твоему нанимателю и гроза нас минет, то и продлим контракт. В день буду платить сотню. Как?

- Так я же на работе.

- С работы не уходи, зачем же, заскакивай там в свой жэк. А то и отгул возьми. Ты сколько там имеешь? Сотни полторы в месяц есть?

- Примерно.

- А тут сотня в день и, как говорится, работа не пыльная.

- Это верно.

- Испугался? Чего? Мои дела - не твои дела. Да... - Рем Степанович взял из бара бутылку виски, открутил с хрустом пробку, плеснул в бокал, жадно выпил. Рванул горло этот напиток, Рем Степанович покрутил головой, растер рукой шею. - Да... Вот я тебе тут громоздил твои обязанности, а правду не сказал. Что ж, раз задумался, скажу тебе все начистоту. Одиноко мне стало, Гена. Одиноко, понял? А ты живая душа. Вот, душу живу за сотню в день и нанимаю.

- Мало ли у вас друзей, Рем Степанович.

- Ты ещё и любовниц сюда причисли. Навалом всех, навалом! Но ты - не они. У тебя ко мне вопросов нет, ты и не боишься меня, я тебе не начальство. Ты и не повязан со мной делами. Ну, объяснил? А где сотня, там и две могут быть. Этого добра у меня хватает. По рукам?

Жалко, жалко было этого человека, не самим собой он был сейчас. Такие так много не разговаривают, нанимая какого-то жэковского электрика к себе в посыльные, что ли. Худо ему, это ясно, одиноко, побросали, видать, дружки и подчиненные, учуяв, что плохи его дела.

- Согласен, - сказал Геннадий и улыбнулся. Он про свою улыбку-спутницу тут совсем позабыл, сбежала она с его лица, вот только сейчас вернулась.

- Вот, вот, такой ты мне и нужен. Эх, мы ещё завьём хвост веревочкой!

Мягко, неназойливо, ни за что на свете не суля чего-либо тревожного, зазвенел телефонный аппарат. Его и не видно было, этого телефона, он совсем в уголочек диванный забился, да и был невелик - все лишь трубка с наборным диском.

- Нажми на рукоятку, спроси - кто? - Рем Степанович протянул трубку Геннадия. - Ты спрашивай, а я послушаю ответ. Если качну головой, значит, нет меня здесь, и весь разговор.

- Кто? - сказал в трубку Геннадий, услышал, как забился ответно напрягшийся, взволнованный женский голос:

- Рем Степанович, это вы?! Наконец-то!

Как красив бывает женский голос, какое сразу прекрасное лицо померещится тебе, едва зазвучит он. Ей-богу, можно влюбиться всего лишь только в голос женщины.

- Это не он, - сказал Геннадий, охрипнув вдруг. Он поглядел на Рема Степановича. Тот окаменело молчал.

- Но где же он, где?! Где?! Где?! Где?!

Какое отчаяние, какая мольба и как красив этот голос...

Геннадий посмотрел на Рема Степановича. Тот окаменело молчал.

И вдруг вырвалось у Геннадия, околдовал его этот голос:

- Он - здесь.

Рем Степанович хмыкнул, не рассердился, а только хмыкнул и отобрал у Геннадия трубку, которую тот уж очень сильно стиснул в руке.

- Я здесь, Аня. - Он не стал вслушиваться в забившийся в трубке голос, он устало позволил: - Хорошо, приезжай.

Рем Степанович отшвырнул свой заморский телефончик, тот виновато уполз на шнуре, спрятался в угол.

- Вот ты и начал работать, мой личный секретарь, - сказал Рем Степанович, хмурясь и улыбаясь, уже изготавливаясь к встрече. - Как угадал, что я хочу ее видеть? Две сотни в день. За угадливость.

- Мне идти?

- Сперва познакомлю вас. К ней записочки-то пойдут.

- А говорили, что одиноко вам.

- Познакомлю, поймешь. Ты смысленный, поймешь.

Снова мягко и неназойливо и не суля - как можно? - ничего тревожного, зазвонил серебрястым колокольчиком телефон-гномик.

- Отзовись, но тут уж без самодеятельности, - твердо произнес Рем Степанович.

- Слушаю вас, - сказал в трубку Геннадий, веря, что опять услышит тот же голос (женщины любят перезванивать, только лишь позвонив, манера у них такая, чего-то им обязательно надо бывает уточнить). Нет, зря надеялся. В трубку вполз какой-то скверный, как червяк в ухо, сладко-липко-вкрадчивый и совершенно бесполоый голосок, да нет, все-таки мужской. Поразило, что слова были теми же, что и у только что звонившей женщины:

- Рем Степанович, это вы?! Наконец-то!

- Это не он, - сказал Геннадий, злясь, что и он тоже ответил, как и тогда.

- Но где же он, где?!

Геннадий не успел взглянуть на Рема Степановича, тот зло вырвал у него трубку, зло спросил:

- Белкин говорит?!

В трубке заегозил, подтверждая, бесполой голосок.

- Зачем ты сюда звонишь?!

Вон как умеет отливать слова этот Кочергин Рем Степанович, он их стальными умеет делать.

- Чрезвычайные, говоришь? Ты в штаны-то, случайно, не наклал? Приезжай! - Рем Степанович отшвырнул трубку-телефон, и это чуть ли не живое существо снова уползло в уголок на гибком шнуре-туловище.

- Выйдешь, встретишь их, - еще не остыв, тем же стальным голосом сказал Рем Степанович. - Поглядишь, не с хвостами ли пожалуют. - Он встал, сунул руку в задний карман, выхватил из него, разведя в пальцах, несколько четвертных. - Точно, двести, - хмыкнул он, чуть отойдя. - Музыкальные у меня пальцы на деньги. - Он протянул деньги Геннадию Сторожеву. - Буду платить тебе за каждый день, ибо будущее наше непредсказуемо. Бери, бери.

Геннадий взял.

3

В переулке, когда Геннадий вышел из дома Кочергина, все тот же стоял зной, еще жарче стало, совсем обезлюдил переулок, но понимая, что жара стоит, Геннадий ее не почувствовал сперва, показалось даже, что вступил в прохладу.

Издали, маня его к себе пальцем, шел навстречу знакомый милиционер, стоявший до этого под сенью подъезда расположившегося тут отделения милиции.

Сошлись посреди пустынной мостовой. Круглолицый старший лейтенант благожелательно протянул Геннадию руку.

- Ты что же, за местными дамами стал ухаживать? - улыбочиво спросил, а улыбался он не хуже Геннадия.

Тот глянул, вспомнил про свою улыбку и тоже заулыбался. Пожалуй, его улыбка была пошире, еще, что ли, беззаветнее.

- Это в каком смысле?

- А вот попугайку нашу пивом угощал.

- Не попугайка она, а Клавдия Дмитриевна.

- Поправляешь? Ну, ну.

- Кстати, умнейшая женщина. А попугай ее, Пьер этот, вообще мудрец.

- Ну, ну. Между прочим, поздравляю, сподобился.

- Это в каком опять смысле?

- Ну как же, Кочергин наш, Рем Степанович, пригласил тебя в дом. Участковый принюхался, как это делают орудовцы, требуя у водителя права. Пил с ним?

- Пиво.

- Пиво на пиво? Ну, ну. Проводочка какая-нибудь ему понадобилась?

- Проводочка.

- Расскажешь, что там у него внутри?

- Не-а. Сам взойди, ты же власть.

- Власть на власть - это не пиво на пиво. Повернет, так думаю.

- Пожалуй, - широко улыбнулся Геннадий.

- Ну, ну, гуляй. Ждешь кого-нибудь?

- Даму.

- Попугайку эту? - просиял улыбкой старший лейтенант.

- Не попугайка она, а Клавдия Дмитриевна. Ей почти сто лет. наших отцов и матерей еще не было, а она уже жила.

- Понял, уважаешь стариков, это хорошо. Не жарко?

- Нет.

- Сухой, это хорошо. А я в тень удалюсь. - И удалился, молодой, важный, с благожелательной улыбкой.

И Геннадий проводил его улыбкой. Вроде как пофехтовали улыбками, а кто кого - не поймешь.

Тем временем какой-то гражданин возник в их переулке. Он вошел не от зачина, не от Сретенки, а вынырнул из проходного двора - одной из множества проходных этих лазеек, проторенных тут с незапамятных времен, с тех самых, с гречевских.

Человек как человек, в такой самой никакой одежде, в какую обряжены все особенно преданные пивным барам мужчины. А они, как известно, за модой не гонятся, во что одет - в то и одет. И походка у него была соответствующая, пробежкой шел, деловито. Что в бар - по делу, что из бара - по нужде. Занятой человек. И в одежде этой своей, с пробежкой этой, - совершенно неприметный, особенно здесь, где к таким привыкли. Тенью вскользнул, тенью выскользнул. Участковый даже и глаз на него не задержал. А вот Геннадий задержал. Голос вспомнился того мужчины, с кем говорил по телефону, кого назвал Рем Степанович Белкиным, велел ему приезжать. У этого, сутуловатого, с шажком-пробежкой такой же мог быть бесполой голосок.

Мужчина, оглядываясь по сторонам, а такие всегда оглядываются, приближался своими пробежечками к дому Кочергина, сомнения не было, он туда путь держал. Стало быть, это и есть тот самый Белкин? Что ж, надо было выполнять задание, отрабатывать эти хрустящие четвертные, которые все время слышны были в тесном кармане джинсов. Надо было поглядеть, не привел ли за собой этот Белкин какой-то там "хвост". Что за дела, какой еще "хвост"? Влипаешь ты, парень, не в свою стихию.

Нет, "хвоста" не было. Даже и здешний участковый, сомлев в тени, стоял к ним спиной. Да и какой это "хвост" - их участковый? Миляга, кругляка, "ну, ну", словом.

Шмыг-шмыг, и исчез этот Белкин за дверью. И опять опустел переулок, томимый зноем. Теперь этот зной снова наваливался на Сторожева. Пойти бы пивка хлебнуть? Но нет, он на

"стреме", он обрабатывает эти восемь хрустких четвертных. Влипаешь, влипаешь ты, Геннадий, не в свою стихию. Но какие деньги свалились! Если так хоть с десятков дней продлится, он сможет в комиссионке у Восстания такой ящик себе купить, что не хуже будет, чем у Рема! Всего десять дней. Правда, Рем Степанович толкнул в конце загадочную фразу: "Ибо будущее наше непредсказуемо". Так что же, видеокассетный магнитофон фирмы "Сони" предсказуем или нет?

Со стороны Трубной улицы лихо въехало в переулок, но тотчас сбавило скорость такси. Видно, вспомнил шофер про восемнадцатое отделение милиции в этом переулке. Все водители тут на этом отделении спотыкаются, выжимая тормоз. Медленно - мы-де хорошие, дисциплинированные - потащилось такси вверх по переулку, миновало Геннадия. Мелькнуло за стеклом молодое женское лицо, в котором жило нетерпение. Эта женщина подалась вперед, руку протянула к спине шофера, шевелились ее губы: "Быстрее! Быстрее!"

Она? Она!

Но что-то мешало Геннадию поверить, что эта молодая женщина в такси та самая, с которой он говорил по телефону, которая заворожила его своим голосом. Что-то мешало.

А такси остановилось неподалеку от дома Кочергина, и молодая женщина гибко выскользнула из машины и побежала к дому. Она? Она! Но что-то мешало Геннадию поверить, что это она, та самая. Эта, скользящая за дверь, ведь он ее знал. Это была - быть не может! - известная актриса. Из молодых, из восходящих. Он был влюблен в нее по уши. Если в каком фильме она снялась, хоть в эпизоде, пусть и в плохом самом фильме, в скучном, он и раз и другой ходил смотреть этот фильм, а если то был телефильм, он усаживался перед телевизором, забыв про все дела. Она? Она! Дверь за ней закрылась. За милой, доброй, доверчивой.

Что ж, оглядись, Геннадий, удостоверься, не притащила ли она за собой какой-то там "хвост". Он - оглянулся. Никого. Только участковый да вот разворачивающий свою машину таксист.

- А?! Кого к вам привез! - сказал таксист Геннадию и зажмурил заплывшие, бывалые глазки. Он тоже был из влюбленных в нее, этот таксист. И ему тоже вдруг сиротливо стало. Ведь для кого-то для другого привез. И он рванул машину, забыв про восемнадцатое отделение милиции.

Ну, а истомившегося от жары участкового уже и не было в подъезде, пошел, должно быть, попрохладнее место искать.

Она! Да, и ее ведь это голос был. Один такой единственный. Но только так в своих фильмах она никогда не разговаривала. У нее ролей таких не было, чтобы такой тревогой жить. Вот тут, в этом доме, такую себе роль нашла? Как же так? Куда подалась? Не для тебя это место, слушай, не для тебя! Вспомнилось ее лицо на экране, ее часто снимали крупным планом. Что бы она ни говорила, ей невозможно было не поверить. Потому и снимали ее крупным планом. Какой бы фильм с ее участием ни показывали, - потом вспомнишь, глупая история, а пока смотришь, и фильму веришь. Из-за нее. И верилось, свято верилось, что она и в жизни такая. Какая? Вот проскользнула за дверь.

Ну что ж, "хвосты" не наблюдаются, следовало сейчас - или нет, не сейчас? - идти к Кочергину с докладом. Геннадий решил, что идти надо сейчас.

Она открыла ему дверь. Стояла перед ним в этой замызганной от времени прихожей, в сенях этих, которые кого только через себя не пропустили, и насмешливо, с сердитой складочкой между бровями, его разглядывала.

- Я к Рему Степановичу, - сказал Геннадий. Раз она на него смотрит, и он на нее смотрел. Вот она, Анна Лунина, не на экране, а живая, хоть рукой дотронься.

- Как прикажете доложить?

- Геннадий Сторожев.

Хоть рукой дотронься... Но еще дальше была она от него, чем там, в экране телевизора. Там она была для всех и для него тоже, здесь она была только для своего Рема Степановича. Женщины умеют, о, они умеют из тысяч неприметностей указать всем окружающим дистанцию, поведать всем присутствующим, кто ее избранник здесь, а порой и кто ее хозяин. "Как доложить?!" Она играла сейчас роль покорной, исполнительной, преданной хозяину этого дома женщины. Но она и гневалась, что им мешают, вот она примчалась, а им мешают. Какой-то бродяга завладел вниманием Рема, какой-то парень с улицы явился.

- Какой-то Геннадий Сторожев в расстегнутой до пупа рубашке! - крикнула она в глубину дома, в отворенную в кухню дверь.

- Впусти! - из глубины, из своего кабинета отозвался Рем Степанович.

- Велено впустить, прошу. - Что-то она расслышала в одном-единственном этом слове (доверие, приятельство?), но вот уже и исчезла сердитая морщинка между бровями. Ее повелитель нуждался в этом Геннадии Сторожеве, его следовало принять поласковее.

- Что будете пить, покуда джентльмены решают там свои вопросы? - Она кивнула на дверь в кабинет, досадливо поморщилась. Она играла, все время играла, громадный будто встал перед Сторожевым экран телевизора, в котором сейчас двигалась, говорила, "жила" его любимая актриса Анна Лунина. Но в том-то и дело, что - жила. А она играла. И тот же изумительно правдивый голос, и те же все ее маленькие хитрости - их актеры называют приспособлениями, - чтобы расположить к себе, чтобы повести за собой, чтобы ей верили, верили всякому ее жесту, слову, гримаске этой встревоженных губ. А чему тут не верить? Тут все по правде. Это не роль, это - жизнь, уважаемая актриса. Это такой сценарий, по которому тебе еще слезы лить.

- Что рассматриваете? Вспомнили по экрану?

- Да, я очень люблю вас. Любил...

- Увидели в жизни и сразу же разлюбили? Я пью виски со льдом. Хотите? Она уселась на высокий стул перед баром, не заботясь, что юбка у нее уж очень высоко поднялась. - Ноги у нее были что надо. Все у нее было что надо. Да она и знала про это.

- Я сегодня с пива начинал, - сказал Геннадий, устало прикрыв ладонью глаза. - Пиво на пиво.

- Садитесь рядом. Вот вам банка с пивом. Открыть?

- Да умею я, умею! - Он взял банку, рванул чеку, яростно повел глазами, куда бы метнуть эту гранату.

- Чего вы злитесь? Вы - кто?

- Жэковский тут слесарь и электрик.

- Так Рем Степанович задумал какой-то ремонт? - радостно спросила она. - И все заботы?!
- Про ремонт он мне ничего не говорил.
- Да, какой уж ремонт... А чего вы злитесь?
- На себя, не на вас.
- Еще бы недоставало! Так, стало быть, любили и... разлюбили?

Она близко глядела на него, а он изо всех сил, а ведь неробок был с женщинами, выдерживал ее взгляд, дивясь, что глаза у нее не карие, а фиолетовые, да, фиолетовые с карими точечками - с ума сойти, какие глаза.

- Рем Степанович рассказывал мне, что родился в этом вашем Последнем переулке. А вы?
- Я - тоже.
- Так и подумала. Не родня ли ему?
- Нет.
- Что-то у вас есть общее. Переулочек-то ваш с лихой славой. Отчаянные вы все тут парнишечки. Ну что уставился? Не твоя я, его я.
- Понял, могла бы и не расшифровывать.

А все-таки они были равно молоды, это их объединяло, делало их ну, что ли, союзниками в том всеобщем заговоре молодых против старых, о котором никто не говорит, его как бы нет и в природе, но он - есть.

- Седой - да, много лет - да. Все так. Но я люблю его, мальчик. И он, седой этот, грузный этот человек, он дюжину молодых за пояс заткнет, целую дюжину.
- Понял, не кричи.
- Разве я кричу? Ах, я кричу! Да, пожалуй... О чем, о чем они там шепчутся?! Что тут происходит, Гена?! - Она перешла на шепот, но вот теперь она и стала кричать.
- Откуда мне знать? Я тут у него первый раз в жизни. А ты сама его спроси. Кто он тебе? Дружок на недельку?
- Мальчик, не заступайте черту. Да застегнись ты хоть на одну пуговицу. Тоже мне Ален Делон!

Бесшумно раздвинулись створки двери, и в кухню, будто подтолкнули его, выскочил Белкин, запнувшись в своей пробежке. Восхищенно, молитвенно воззрился он на женщину, ожили его блеклые глазки, подобралось, сколь возможно, одутловатое, с натеками щек лицо.

- Красавица... красавица, - бормотал он, - глазам больно глядеть...
- Аня, налей товарищу, - входя, сказал Рем Степанович. - Он был хмур, тер ладонью лоб, щеки. - И мне чуть-чуть плесни виски. Ты что будешь пить, Олег? - Рем Степанович растер лицо, согнал с него хмурость.
- Сибирскую, если есть. В ней помене воды, поболее забвения.
- Что делает с человеком перепуг. - Рем Степанович зашел за стойку, стал отыскивать в

рядом бутылки "Сибирскую" водку. Нашел, сам начал наливать. - Столько? Больше?

- Будет, руки трясутся, расплескать страшусь.

- На и не страшись. Пей, Олег. Как ты вырядился? Ты не подумай, Аня. У него элегантнейшие имеются костюмы. И вообще, фронт и ухажер. Но вот, гляжу, потянуло к наипростейшей простоте.

- Не надо меня поднимать, Рем Степанович, - вдруг построжал лицом Белкин. - Да, опускаюсь, опускаюсь, сам вижу. Как погнали из министерства, стал опускаться.

- Да ты вроде обиделся?

- Сам вижу. Страшно мне. Поэтому мытьем стаканов занимаюсь в павильоне "Соки", а скоро...

- Хватит! - прикрикнул Кочергин. Глаза у него вспыхнули, выстрелили яростью.

Белкин сжался, отвернулся от этих глаз, стал жадно глотать из фужера, привычно таясь, отгораживаясь, как пьют в подворотнях.

- Милый, что с тобой? - Таких глаз, какие сейчас были у Анны Луниной, на экране, в самом-рассамом крупном ее плане, Геннадий никогда не видел. Таких, испугавшихся за другого, преданных, недоумевающих, вдруг чего-то устранившихся. Кончилась игра, забыла актриса, что она актриса.

- Геннадий, пойдешь с Белкиным, тут недалеко. - Рем Степанович отгородился от глаз Ани, хлебнув из бокала. - Он тебя к одному человечку отведет, а по дороге проинструктирует. Записочку тебе надо будет передать. Только и всего. И назад. Идите, братцы, ступайте. Олег, чтобы больше никаких сюда звонков. Этот дом - это мое прибежище, я тут дух перевозжу, я тут вот с Аней встречаюсь, книжки почитываю. Понятно объясняю? Если что, свяжешься с Геннадием, запиши его телефон. Идите!

- Идем, идем! - Белкин допил, глянул, чем бы закусить, но отверг протянутый ему Аней крекер, навис было рукой над тарелкой с соломкой для пива, но и эту закуску отверг, видно, страшась, что воздействие выпитого от жевания ослабнет. Пробежкой, пробежкой устремился он к выходу, трепетно вслушиваясь в себя, радуясь наплывающему на мозг туманцу.

Когда затворял за собой дверь, Геннадий услышал плачущий голос Ани, правдивый ее голос, требующий сейчас ответной правды:

- Милый, что с тобой, что с тобой, что с тобой?

Щелкнули замки, заглушив ответ Рема Степановича. Наверняка бодрые какие-нибудь слова, мужественные.

5

Шагать рядом с этим семенящим человеком было трудно. Еще трудней было все время молчать, а Белкин не желал разговаривать, оберегая свой туманец, замерло его перепуганное, потекшее, с трясущимися щеками лицо. Не повернуть ли к дому? Не наплевать ли на эту работенку - уж больно какую-то выгодную, какую-то легкую? Ничего не стоило взять

да и повернуть домой, а деньги эти, восемь этих четвертных - Геннадий притронулся к карману, и бумажки хрустнули, - а их немедленно же вернуть Кочергину. Мол, раздумал, недосуг. И вообще, ну вас с вашими секретами. Ничего не стоило так поступить, даже рванул было, подался плечами, чтобы повернуть назад. Но не повернул. Там, в доме у Кочергина, появилась Анна Лунина. Все усложнилось теперь из-за этой женщины. В ушах не отжил еще звук ее голоса, слова эти остановились, не уходили: "Милый, что с тобой, что с тобой?.." А с тобой, Аня? Как ты там очутилась, скажи? Зачем это тебе?

А этот Рем Степанович, он берет от жизни все самое лучшее. Не промах мужичок. Какая мебель, какие ящики. Спросить бы, почем платил за них. А за Аню?

- Кто он у вас все-таки? - спросил Геннадий Белкина, и тот понял вопрос, миготом отозвался, да так горячо вдруг заговорил, будто этот же вопрос в нем самом давно стучал в виски:

- Он у нас ого-го еще! Он не погорел, как я. Нет! Этого с ним не случится. Связи у мужика крепче морских канатов. Голова! Личность! А как держится? Ну, крупные неприятности у него, у всякого бывает. Но как держится. С бабой вот времечко решил провести на вершине проснувшегося вулкана. Это так не всякий сумеет, иной бы запаниковал. Наши, среди наших, его Батей зовут. Батя! Одна надежда на него! - Губы у Белкина, покуда он выкрикивал все это, мелко тряслись. Пришлось ему даже пальцами попридержать их, но и пальцы затряслись.

- Выручит, стало быть? - спросил Геннадий. Он не мог приноровиться к пробежке Белкина. То обгонял его, то отставал, настигая широким шагом.

- Меня? Обязан! - Белкин вдруг остановился, настороженно глянул. - А ты что про меня знаешь? Ты - кто? Курьер? Ну и не вникай. - Он снова припустил вперед, из одного переулочка сворачивая в другой, путь держа к Садовому кольцу.

Пересекли Кольцо, дальше двинулись по кривеньким, в гору переулочкам, почти таким же, как Последний, Большой Головин и все прочие присретенские. И эти места были отлично знакомы Геннадию. Тут друзей у него было полным-полно. Особенно их было много, когда играл в хоккей. Что за друзья? С иными и драки затевались, улочка на улочку, а все равно - друзья. Свои ребята. Они - для него, он - для них. Отличный народ. Надежный. Если что, выручат. Захотелось очень, вот прямо сейчас, повидать кого-либо из местных парней, из "васнецовских" - таким тут было их прозвище, по дому-музею художника Васнецова. А вот и этот старый дом в один этаж, с деревянным теремком и двухэтажной позади студией.

Как-то раз побывал в нем Геннадий, поглядел на картины, на сказки эти на стенах. Художник, говорят, был замечательный. Все шепотом в комнатах разговаривали. А ведь бедно жил. Личные вещи у художника были ничем не дороже тех, какие остались от старых времен у его, Геннадия, тетки. Из бедной кружки чаек попивал, из мятого самовара. Никаких ковров, никаких штучек заморских на столе. Если что и стояло по углам, что и висело по стенам, то своими руками сделано. А художник и впрямь замечательный, все детство вспомнилось, как вошел и встал перед его картинами, мать вспомнилась, которую забыл, маленьким совсем был, когда умерла. А тут вспомнилась. Встала у одной из картин, начала про нее рассказывать. Тихо, неслышно, но он различил слова, они прошелестели в самой картине, пришли к нему оттуда, от "Спящей царевны" на картине, лицом напомнившей мать, когда она навсегда заснула.

- Сходить надо будет в этот дом, - вслух произнес Геннадий.

Белкин все понял, смущенный дядечка, отозвался, покривив, смяв улыбочкой перепуганные губы:

- Сравниваешь? Тут, конечно, красота, история, но жить-то удобнее в домике Рема.

- Тогда не было такой техники.

- Э, что ты понимаешь! Люди с деньгами тогда так жили, что и нашему Рему во сне не приснится. Есть, есть у иных из нас деньги, много даже, но нет возможности их с толком потратить. Страна у нас для этого ограниченно годная.

- Страну не трогай, - сказал Геннадий.

- Не буду. Но все же, конечно, и у нас можно пожить в свое удовольствие. Убедился?

- А откуда деньги у него? Такие?

- Вот так вопрос! Связи большие. Опять же окладик человек имеет. Удовлетворен?

- Дурачком меня считаешь?

- А если не дурачок, то и не спрашивай. Честно, сам не знаю, откуда у наших заправили деньги. Вроде бы не воруют. А? Взятки берут? Никогда не видел, чтобы наш Степанович у кого-нибудь взятку принял, дорогой какой-нибудь сувенир. Никогда. Сам - дарил, а сам не брал. Поручиться могу. - Белкин чуток даже повеселел от своих разглагольствований, излукавилось его отеكلое личико. - Вот такая вот версия, молодой человек. Ну, скоро прибудем. Путь держим мы в рыбный магазин, к заму директора по кличке Митрич. Кругленький, веселенький. Его еще за глаза Колобком зовут. Тем знаменит на Москве, что развел у себя в кабинете и магазине аквариумы с заморскими рыбками. И ничего ему не надо, окромя этих рыбок. Инструкция такая: войдем в магазин, ты сам по себе, я сам по себе. Ты отыщешь этого Митрича и вручишь ему эту вот записочку. На, держи. - Белкин выхватил из нагрудного кармана клочок бумаги, всунул его в руку Геннадию. - Не оброни. Вот и все.

- А зачем тогда вы мне понадобились? Я этот магазин с рыбками и сам знаю. И круглого этого дядьку знаю, смотрел, как он рыбок кормит.

- А я тебе нужен для того, чтобы он записку у тебя без лишних слов принял. Я ему издали только кивну, он и примет.

- Сами бы и отдали.

- Вопросы, вопросы. Зачем тебе столько всего знать? Ты - курьер, посыльный, тебя попросили - ты отнес. Не задаром, конечно. Ведь не задаром?

- Не задаром.

- Вот и хорошо. И все дела. И не вникай.

- Ответ ждешь?

- Сунул записочку и - за порог. У рыбок не застревай. В другой раз как-нибудь. Пришли. - Белкин указал рукой на вход в магазин, до которого было еще порядком идти. - Отсюда пойдём поврозь. Давай иди первым.

- Прямо как в кино, - усмехнулся Геннадий. - Нагляделись вы этих детективчиков.

- Давай, давай, - завертев головой, сказал Белкин, и губы у него опять мелко затряслись.

Геннадий Сторожев давно не был в этом рыбном заведении, но аквариумы ему запомнились. Тут всегда толклись ребяташки. Да и он тут еще пацаненком в первый раз побывал. Стало быть, давно здесь работает этот Митрич, с незапамятных времен.

И сейчас, хоть и обезлюдела Москва летом, в торговом зале у большого аквариума толпился

народ. С подсветкой был аквариум, с кислородным питанием, пузырьчатая струйка свежей воды бурила песчаное дно. Занятно было глядеть, как плющили носы диковинные существа там, за зеленоватыми стеклами. Из дальних стран, из загадочных вод гости. И пахло в этом магазине не прогорклой рыбной вонью, селедочными пустыми бочками, а морем, казалось, что морем пахнет. Под потолком журчали лопастные вентиляторы, насылая с Самотеки ли, а то и из-за моря-океана свежий ветерок.

Митрича нигде не было, и Геннадий подошел к рыбкам, стал их разглядывать. Краешком глаза увидел он, как вступил пробежкой в магазин Белкин, споткнувшись, конечно же, у порога, как просеменил через зал, встал в углу, мигом отыскав для себя тень.

Вдруг шумок какой-то непонятный прошелестел по магазину. Кто-то шарахнулся, кто-то куда-то побежал. Молоденькая продавщица за прилавком напротив Геннадия всплеснула вдруг руками и как-то странно осела, странно вскрикнув. Карманника какого-нибудь словили? Попер какой-нибудь доходяга рыбину с прилавка?

Вдруг тихо стало. Услышал Сторожев, как журчит кислород в аквариуме, пузырьки лопаются. И в этой тишине послышались шаги. Мерные, как в солдатском строю, и drobные, шаткие. Геннадий глянул на звук шагов. Из подсобки, где в распахнутую дверь еще виднелись аквариумы, двое вывели третьего. Двое были подтянуты по-военному, хотя и в штатском, у них были строгие, отрешенные, неумолимые лица. Третий - он был круглый, весь белый. И халат на нем был бел, и шапочка поварская была ослепительно бела, и лицо его было белым, в синеву белым. Круглое лицо с широким, замершим в оскале ртом. Узнал этого человека Геннадий. Это и был Митрич. Он шел, странно выдвинув вперед руки, качало его, слабо держали ноги. Но не это было странно, что качался человек, что руки вперед выдвинул, как боксер в низкой стойке. Станным было, незнакомым, приковывало взгляд что-то такое, что поблескивало на запястьях Митрича, что сцепляло, держало его руки рядом. Геннадий понял, догадался: это были наручники.

Двое в штатском вели Митрича наискосок через зал, держа путь еще к одной двери в подсобные помещения магазина.

Митрич поравнялся с Белкиным. Качаясь шел, качнулся и в его сторону. Он, когда шел, все время что-то порывался сказать замерзшими губами, надувались его щеки, но слова прорваться не могли. А тут прорвались, когда качнулся к Белкину:

- Шорохов жив... его работа... предупреди...

Штатские спутники Митрича насторожились, прислушались, глянули по сторонам, заторопили шаг. А Белкин отвалился к стене, вжался в стену, невидимым стал, серый на сером.

Затворилась дверь, но снова отворилась и уже не закрывалась больше - в нее кинулись отовсюду продавцы, кассиры, все, кто тут работал. Это ведь для них так провели по магазину, а теперь вели по подсобным помещениям их сослуживца, так вот, в наручниках. От этого мига, от этого прохода начиналось для него наказание, начиналась расплата. Это было новостью, чтобы повели у нас человека в наручниках прилюдно. Новостью, которую народ принял и одобрил.

- Крал, крал, круглый, да угодил в наручники, - сказал кто-то из мужчин, разом сломав тишину. Зашумели все, заговорили. Вот и начался для Митрича, для Колобка этот суд, и сразу народный суд. Попался Колобок, в наручниках увели.

Геннадий вышел из магазина и стал дожидаться Белкина, который так и стоял, вжавшись в стену, с обомлевшим лицом. Вернуться, что ли, отодрать его от стены?

А перед магазином все больше становилось народу. Тут фургончик стоял, в каких привозят в магазины небольшие партии товара, ящичек-другой с дефицитными баночками или ранними фруктами. Разгрузят такие ящички - быстро, быстро, в миг один! - и сгинут они, никто из покупателей больше их не увидит, для кого-то для другого предназначено их содержимое, для каких-то, видать, небожителей. Совсем такой как раз стоял фургончик, того гляди выскользнут из него заветные ящички и сгинут. С икрой, с балыком, с осетриной в томате. Раз только в жизни и ел эту осетрину в томате Геннадий. Замечательно вкусная штука. Отремонтировал как-то в только что построенном в их переулке высоченном панельном доме новоселке одной цветной телевизор, а деньги взять отказался. Новоселка была молодой, пригожей, нарядной, - он постеснялся брать у нее трешку. Да и работы было всего ничего. Был бы у этой новоселки мужчина в доме, а не такой вот пузан в шлепанцах, сам бы все сделал в одну минуту. Отказался, пошел к выходу. И вот тогда пузан в шлепанцах и сунул ему в карман консервную банку. Ну, вскрыл дома, выставил на стол, стали они с тетушкой есть эту осетрину в томате. Вкусная штука. Глянул, а у тетки на глазах слезы. "Ты - что?" - "Вспомнилось..." - говорит. Это значит, довоенную жизнь она вспомнила, когда жив был ее муж, военный моряк, капитан первого ранга. Портрет его висит в их комнате. Он там у них вместо иконы. Тетка уверяет, что Геннадий похож на него, хотя не капитан ему кровный дядя, а она ему кровная родня, сестра родная его матери. Но вот похож. Это чтобы он равнялся на него. Куда там!

Да, совсем такой же фургончик, в каких возят заветную жратву, стоял перед входом в магазин, но только с одной странностью: зарешечено у него было оконце над задней дверью. И это вот зарешеченное оконце и собрало вокруг фургона толпу. Ждали.

Вывалился, кривоногим став, из дверей Белкин. Не удар ли хватил? Лицо замерло, руки повисли, ноги загибают. Геннадий подскочил к нему, крепко взял за локоть.

- Видал? - поглядел на него поширенными глазами Белкин. - Наручники видал? Это что же, всех теперь так?

- По заслугам.

- Ты молчи, молчи, парень! От сумы и от...

Раздалась толпа у дверей, вывели строгие штатские молодые люди человека в белом и с белым лицом. Подвели к фургону, распахнули перед ним створки двери. Со стороны поглядеть, почет оказывают. Даже посадил один, поддержал. Из глубины фургона человек в белом оглянулся, кого-то выискивая в толпе белыми глазами.

Белкин нырнул за Геннадия. Створки двери сомкнулись. Стронулся, покатыл фургончик.

- Вылезай, уехали, - сказал Геннадий. - Другом тебе был?

- Какой друг?! Какой еще друг?! Я бы его собственными руками задушил! Белкин выскочил из-за спины Сторожева, кинулся прочь от магазина, вспомнив свою пробежку, но с таким ускорением побежал, что Геннадий едва его настиг.

- Куда теперь?

- Беги к Кочергину... Скажи ему, что случилось... Про наручники, про наручники не забудь...

- Да не гони ты так, не рви стометровку.

- Скажи, что Митрич успел шепнуть мне... Вот эти слова... Не спутай... Он шепнул: "Шорохов жив... его работа... предупреди..."

- Сам и скажешь. Да не гони ты! Никак не приноворюсь.

- Нет, мне в этот дом теперь нельзя! Нет, я теперь побегу, побегу, побегу...

Белкин свернул в переулочек, не в тот, каким шли к магазину, а в другой, в противоположный.

- Да куда ты?

- Еще проследят, поплутаем... Не заметил, они меня не заметили?.. Когда Митрич ко мне качнулся, они не обратили, не усекли меня?.. Не заметил?..

- Слушай, не паникуй. Если виноват, все равно достанут. Не паникуй, противно с тобой рядом бежать.

- А ты и отваливай от меня, отваливай. Незачем нам вместе.

- А записка? Куда ее теперь?

- Отдашь Кочергину. Он писал, не я писал. Порвет. Опоздала записочка. Я - предупреждал! С бабой, вишь, время глушит! Зажмурился!

В том переулочке, в который они заскочили, на углу, где сбегались еще два переулочка, стоял фруктовый павильон, новенький, сверкающий пластмассой и стеклом. В нем шла торговля. Трещали раскрываемые ящики - подсобляли бойкие мужички, - а в ящиках чернел, желтел, розовел виноград. И будто небо заголубело над павильоном, будто море проглянуло синее за его ядовито-зелеными стенами. А воздух в переулочке стал терпким, мускатным. Торговала женщина, под стать этому на миг югу, на миг морю. Броско-красивая, яркая, даже избыточно яркая. Пышные волосы в красных заколках. На сильной шее всякие-разные золотые цепочки, на пальцах с красными ногтями приметные и издали перстни, запястья, как наручниками, скованы браслетами. А вот платье было на ней черное, траурно черное. И косынка, в азарте торгова сползшая на плечи, была черной, траурной.

- Видали, он ее намахал, а она по нему траур нацепила! - Белкин даже повеселел на миг. - Видали! - Он кинулся к павильону, растолкал очередь, крикнул продавщице: - Да сними ты траур, глупая женщина! Жив он! Выходила его та баба белесая! - Сказал и припустил в сторону.

А продавщица, уронив полные руки, замерла, прикусив яркие, с поплывшей помадой губы. И в очереди все стихли.

- Жив... - Но она не знала, эта женщина, радоваться ли ей, нет ли, она растерялась, чему отдать сейчас душу. Вот только косынку догадалась сдернуть. И принялась за работу, потускнев, постарев лицом.

- Кто жив-то? Про кого ты ей? - настиг Белкина Геннадий, следуя за ним скачками, как прыгун какой-то. Тот - семенил, этот - скакал, со стороны смех, да и только.

- Шорохов жив! Павел Шорохов! Я же тебе велел передать.

- А кто он - этот Шорохов? Чего вы так его испугались?

- А это тебе пусть наш Рем объяснит. А я побежал, побежал, побежал... Белкин прикрикнул на Сторожева: - Да не гонись за мной! Отстань, кому говорят!

Геннадий остановился, провожая глазами семенящую, трясущуюся, сгорбившуюся фигуру.

7

Уже вечер начался. Но в июле вечер долго кажется днем. Закатное солнце печет не хуже утреннего, и в их Последнем переулке все так же было знойно, душно, безлюдно.

Куда идти? Домой? Есть захотелось. А - записка? Ее надо было вернуть. А эти слова, которые велел передать Кочергину Белкин? Пока раздумывал, ноги сами повели к дверям кочергинского хитрого домика, а рука сама нажала на кнопку звонка. В доме этом, в квартире этой богатой, может, все так же посиживая у стойки, была сейчас Анна Лунина. И ноги Геннадия об этом помнили, потому и привели его к двери, помнила и рука, потому и нажала на звонок. Сидит у стойки, пьет свое виски со льдом. Или еще чем-нибудь там занимается? Телевизор смотрит? Видеомагнитофон включила? Журнальчики, детективчики листает? Там много чем можно было заняться. Долго не открывали, и Геннадий, вдруг заспешив, чуть ли не запаниковав, давил и давил на звонок.

Но вот дверь отворилась, вернее, чуть приоткрылась.

- А, это ты! - сказала Аня и впустила его. - Иди вперед.

На лестнице было темновато, полосато, только лучи закатные пробрались сюда. Но и этих полос хватило, чтобы увидеть, что Аня почти нагишом его встретила. Ну, в халатике, конечно. Но халатик этот не доходил и до колен. Без белья она была, а лучи просквозили ее. Поясок, торопливо увязанный, сейчас разжался - и всё полз, полз, разжимаясь.

А ей все равно было, будто не мужчину впустила, не мужчина на нее смотрит. Вот только сказала: "Иди вперед". Это чтобы на крутой лестнице он уж совсем ее всю не разглядел. А замешкался бы, пошла бы вперед сама. Ей все равно было, он никем, ничем для нее был. Посыльный, пустое место. О, как умеют женщины оскорбить человека, мужчину, если другой в этот миг владеет ее помыслами! Мстя тому, может быть, кто ей дорог, за что-то обязательно все же мстя, хоть и счастлива с ним, а потому мстя другому. Поквитаться всегда есть за что. У счастья всегда есть горчинка в привкусе. Женщина и мужчина всегда в сражении.

Поднялись, вошли в хмурые сени, ступили на зашарканные половицы, знавшие все про женщин, тех еще, что мстили тут мужчинам в прошлом веке, а мужчины попирали их, попирали, - эти половицы дожили и еще до одного сосвидетельствования.

На пороге кухни их ждал Кочергин. Он был в короткой римской тунике с багровой полосой по подбою и рукавам. Это был халат, но он был задуман как туника. И воистину римлянин стоял в дверях кухни. Сильная шея, сильные голые ноги на пляжных платформах, сильная, хоть и седым поросла волосом, грудь.

- Мой повелитель! - произнесла Аня (она играла сейчас, подыгрывала этой тунике, они тут, оказывается, игры играли). - О мой цезарь! Я привела тебе гонца, принесшего ответ!

И голос у нее никакой не правдивый, не такая уж она и молоденькая - вон сколько морщинок у глаз. И ноги вот полноваты в бедрах. Геннадий не мог отвести глаз от этих ног, ну, не мог, мучаясь, кляня себя, вздергивая голову. Обозлившись, он выкрикнул:

- Шорохов жив! Его работа! Предупреди!

- Что, что?! - вздернулся Рем Степанович. - Входи! - Он схватил Геннадия за руку, схватил и Аню за руку, выгадывая секунды, с силой захлопнул дверь, втащив их в кухню. - Кто сказал?! Что ты молотишь?!

- Митрич этот ваш сказал, когда его повели в наручниках, - сказал Геннадий, все вскидывая голову, чтобы не смотреть на круглые голые колени. Его слова. Белкин велел...

- Стоп! Пошли ко мне! Аня, мы на минуточку, прости. - Рем Степанович даже улыбнулся ей, стремительно уводя Геннадия. За руку повел, будто тот мог сбежать. Да, он улыбнулся ей, ее римлянин, цезарь, ее Рем, но тревога, нечто большее, чем тревога, но страх этот, да, страх, выжелтивший карие крапинки в его синих глазах, - он передался ей. Женщины восприимчивы на все самое главное в жизни. А что может быть главнее страха? Страшнее?

- Что еще там за наручники? - спросил Рем Степанович, когда они, чуть ли не бегом миновав гостиную, очутились в кабинете.

Кинулись тут Геннадию в глаза белые ломкие простыни, которыми застлан был широкий диван. Эти простыни шибко повоевали между собой, поизломали друг друга. Кинулись в глаза все те невесомости, в которые облакает себя женщина летом, чтобы поверху потом накинуть легчайшее платье. Кинулось в глаза это платье, такое строгое еще недавно, такое простое и неприступное в своей простоте. Оно сейчас валялось на паркете, как половая тряпка.

Рем Степанович проследил, как мечутся глаза парня, усмехнулся хмуро.

- Вот и начал ты мне завидовать. - Он подхватил платье с пола, бельишко это, сгреб, смял, кинул на диван. - Ну, женщина. У тебя, что ли, нет никого? Попроще, чем эта? Так оно и лучше, что попроще. Поверь, в главном они все одинаковые. А попроще, значит, притворства меньше, да и возни меньше. - Он устало сел на диван, заученным движением стал растирать ладонью лоб, щеки. Наручники... - Он вытянул сильные руки, заросшие до запястий в рыжину и в седину волосами. Сильные руки. Он стал их разглядывать, сдвинул, будто прикинув, а как им будет в наручниках. - Как же так? - Он раздумывал вслух, забыв на миг про Геннадия. - Жив, оказывается? Жив... Этот знает все изнутри... Худо!

- И ее поведут в наручниках? - спросил Геннадий, мотнув головой в сторону двери.

Кочергин встrepенулcя, вскочил, одергивая тунику, затянулся туго-натуго, как бы изготoвьcя к бою. Меч бы ему короткий за пояс, щит бы в руки - и в бой.

- Ее не поведут, не страшись. Напротив, снимут с запястий кое-какие браслетики и отпустят. Всего лишь дама, заблудшая овца. - Он попытался усмехнуться, разжал губы, но не вышло с усмешкой, зубы вдруг сжались, получилась гримаса. - И за меня не страшись. Не поведут. Меня - нет. За мной, если потянут, столько всего потянется, что... Нет, Гена, за меня не страшись.

- Да я не страшусь. - Геннадий увидел на столике у дивана два фужера, стоявшие впритык друг к другу, - один был допит, другой ополовинен. - Пить хочется, - чувствуя, что в горле пересохло, сказал Геннадий. - Жрать хочется. Замотался я тут с вами. А у меня два вызова не закрыты. Еще уволят меня с вашими делами.

- Попроси кого-нибудь из напарников, сунь четвертной.

- Сунь, сунь! Уже вечер, а завтра суббота. Что я скажу? И не всякому сунешь, как мне.

- Смотри сколько, Гена. Весь вопрос - кому и сколько ему?

- Моя цена по вашим делам - две сотни в сутки?

- Мало? Ну молодчага! Что ж, может, и прибавлю, так сказать, по ходу пьесы.

- Не мало, а шибко много. - Геннадий полез в тесный карман, где угревали ему бедро восемь четвертных. - Взяли бы вы у меня свои бумажки.

- Стой, стой, не шурши. Назад я ничего не беру. Вперед пойдем, Гена. Чего испугался? Ты - посыльный. Какой с тебя спрос? Соседский паренек, длинные ноги. Только и всего! Но ты мне нужен, Гена. - Рем Степанович пошел к двери, отворил, крикнул: - Аня, твои мужики жрать хотят! Мужиков надо регулярно подкармливать, а то они злиться начинают. Или не знаешь?

- Накормлю! Пригребайте на кухню! - отозвался голос Ани. Чему-то она обрадовалась. Что позвал - этому? Не много же ей надо - заблудшей овце.

Они вернулись на кухню. Аня уже стояла у плиты, у чудо-плиты, которую она, похоже, еще не освоила. А там был щиток с программным управлением, там всяких кнопок и рычажков было не меньше, чем в летной кабине сверхзвукового лайнера. Аня же, облюбовав обычный электродиск, который предусмотрительно был вмонтирован в плиту, на первое время, для неопытных хозяек, не прошедших курс на физтехе, уже разбивала о край сковороды яйцо за яйцом, делая это весело, с увлечением, азартно. Опять принялась играть?

Кочергин тоже занялся делом. Он хватал с полок бутылки, сливая в миксер то одну жидкость, то другую, прикидывал, отмерял, он увлекся этой работой. Прикидывался? Этот уж наверняка прикидывался. Брови его то и дело хмуро сходились, азартная улыбочка худо держалась, ужимались губы.

А Геннадий все поглядывал, все изучал их, злясь, что остался, злясь, что глаза прилипли к ее ногам и вздрагивали у него зрачки, когда она вскидывала руки и вскидывался халатик. Верно, что когда мужчина жрать хочет, он становится злым. Изозлился Геннадий, жрать хотелось, да и сбежать хотелось.

Но вот уже сковорода на столе, помидоры нарезаны, появилась брынза, появился лук, появились какие-то флаконы с разноцветными соусами, синие бокалы, зеленоватые рюмки, оплетенные бутылки, графин хрустальный с водкой, подскочил к столу со своим фирменным напитком римский патриций, провозгласил, вскинув сильную руку:

- Осушим кубки, идущие на бой! - И первый и выпил, жадно, обливая грудь. Это шло ему - так пить. Красив он был, этот старый. Такого, что тут спорить, она могла полюбить.

Она и смотрела на него влюбленными глазами. Подхватила, так же вскинув руку:

- Хоть миг, да наш!

Геннадий хлебнул изготовленный Ремом напиток, обжегся, встрепенулся, задохнулся, прослезился и, слыша, как пошел по жилам огонь, стал есть, жадно, как и они, переняв, что они едят руками, ломают хлеб, подхватывают на него куски яичницы, ломают сыр, обмакивая его в соуса, сминают лук у рта, едят жадно, смешливо, впиваясь зубами, как, должно быть, жрали римские центурионы, идущие на бой. Он так же стал жрать, выпачкался мигом, но и повеселел. Отлетели все хмурые мысли. Внутри огонь пылал, рот горел от перца и приправ. Попроще, попроще все стало для глаз. И женщина эта полуголая - то одно откроется, то другое, - чужая, другого женщина, она поближе, поближе к нему стала, придвинулась к нему, хотя прижималась-то она к своему Рему.

- Славно жрет, хороший парень, - сказала Аня своему Рему, зубами кивнув на Геннадия. - Обтесать бы чуток, цены бы не было. В мужике ведь главное стать. А у него есть.

- Еще успеешь разобраться в его стати. Молодые, еще снюхаетесь у моего гроба. А в мужике,

знаешь, что самое главное?..

Они принялись хохотать, подталкивая друг друга плечами, целуясь при нем. Он был тут, они заговаривали с ним, о нем говорили, но они одни были за столом, одни. Сгас огонь от выпитого, опротивела вдруг вся эта жратва. Геннадий поднялся.

- Пойду я.

- Иди. Провожу.

Геннадий все же ждал, что Аня остановит его, мол, посиди, куда спешишь. Не остановила. Глянула мимо него, сквозь него - так смотрят женщины, глядя в себя, в начинающееся в себе, в волну эту наплывом вслушиваясь, когда хоть трава не расти, хоть что ты хочешь ей говори, как угодно предостерегай, а ей - все ничто, "хоть миг, да наш!"

Рем Степанович вывел Геннадия в прихожую.

- Завтра утром загляни, - попросил. - Пошлю тебя по одному адресу. Только и делов. Отнесешь записочку. Только и всего.

Геннадий вспомнил, выхватил из кармана смявшийся клочок бумаги.

- Белкин вернуть велел, не успели мы вручить.

Рем Степанович взял бумажку, повертел в кончиках пальцев, будто брезгуя этим незадачливым лоскутом, не пожелал оставить его у себя.

- Эту бумажку и передашь завтра. Но по новому адресу. - Он вернул записку Геннадию. - Тут всего два слова. По сути восклицательный знак всего лишь. Зайдешь завтра? Часов так в девять?

- Суббота - не работа, зайду...

- И лады! - Он потрепал Геннадия по плечу, нажимая рукой, выказывая ее силу. - Не завидуй - все они одинаковые... Сбегай к какой-нибудь, проверь, опустошись. А то махнемся, ты на мое место, я - на твое! Невозможно? Верно! А было бы возможно, я б тебе не посоветовал. Ступай!

8

Все еще день жил в их переулочке, все еще зной держался. А уже был вечер. И вытемнилось за домами небо.

Геннадий решил забежать домой, умыться, под душ встать, смыть с себя весь этот сегодняшний денечек, который сейчас и привкус обрел. Геннадий пропах яичницей, терпкими соусами, терпким огненным пойлом. А еще того больше - о чем он не догадывался - он пропах чужой судьбой. Этого душ с него не смоет, хоть под кипятилок вставай.

Вдалеке, у входа в отделение милиции, стоял все тот же старший лейтенант, доколачивал дежурство.

Двинувшись к своему дому, стоявшему напротив и наискосок от милиции, Сторожев, как римский патриций, вскинул руку, приветствуя старшего лейтенанта. Выкрикнул:

- Привет идущему с дежурства!

- Понял. Угостили. Ну, ну. - Старший лейтенант благожелательно и даже завистливо глядел на Геннадия. - А к тебе женщина в гости пришла. Давно ждет. Поторопись.

- Почему именно ко мне? Дом-то вон какой.

- В окне твоём промелькнула. Сперва в лифте, он у вас прозрачный, потом в окне.

- Наблюдательный.

- Служба.

- Какая из себя?

- Сам рассмотришь. Но спешить тебе надо. Поверь.

Улыбаясь, фехтуя улыбками, они расстались.

Ну что за день?! Что еще за женщина?! Та, с которой был у него этим летом роман (да какой там роман, просто встречались, когда тянуло - она была лет на десять его старше, - ее-то тянуло, а его-то не очень), эта женщина к нему домой заявиться не могла, знала, что он живет в одной комнате с теткой, не могла не знать, что тетушка живо ее погонит. Роман этот - да какой там роман! - скрыть Геннадия от тетки не удалось, но и одобрения от нее получить не удалось. Строга была его тетушка в этих вопросах: "Не так живешь! На что драгоценные годы мотаешь! Твой дядя в твои годы уже подводной лодкой командовал!"

Дома действительно была гостья. Сидела в уголке у круглого столика, на котором обычно навалом лежали перепечатанные теткой материалы, и попивала кофе. На плече у нее сидел сонный Пьер. Так вот что за женщина! Верно, тут надо было спешить, прав лукавый старшой. Геннадий с порога расхохотался, радуясь, что смех этот пришел к нему, зная, что тетка любила его веселым, принималась радоваться за него, мол, с добрыми явился вестями. Она все ждала, что он либо в институт поступит, либо объявит, что женился на молодой, красивой, из хорошей семьи, либо хоть выиграет "Жигули" по лотерее. Она все время ждала от него, для него хороших вестей. И вспыхивала у нее надежда, когда он являлся в хорошем настроении. А вдруг!..

Но сейчас Вера Андреевна никак не среагировала на его смех, была мрачнее тучи. Она сидела за машинкой, работала. Она так наострилась, что могла и разговоры разговаривать и трещать на машинке, мельком будто бы заглядывая в текст. Когда она сердилась на Геннадия или вообще была не в духе, треск из-под ее пальцев просто сливался в один высокий звук, как слились бы в раздражении произнесенные слова выговора. Машинка часто так ему выговаривала. Поздно явился - трещит машинка, мол, и слушать твоих дурацких объяснений не желаю. Выпил хоть немного, и того хуже треск, взвывается на крик. Сейчас машинка просто криком кричала. А когда кончилась страница и надо было закладывать новые четыре экземпляра, Вера Андреевна так развевалась с копиркой и бумагой, что ветерок прошелся по комнате. И все молчком, молчком.

- Здравствуйте, Клавдия Дмитриевна, здравствуй, Пьер, - сказал Геннадий. - Рад вас приветствовать.

- А мы сегодня уже здоровались, - прихлебнув, ответила старушка, Пьер ворохнулся, подтверждая. - День такой длинный выдался, что и забыл? Древняя женщина оглядела с ног до головы Геннадия, недовольно затрясла головой, придя к тем же выводам, что и старший лейтенант милиции: - Угощал тебя? Значит, что-то ему от тебя нужно. Эти купцы, Кочергины эти, зря не улещивают. Всегда у них интерес какой-нибудь за пазухой есть.

Тетушкина машинка взвилась в яростном треске.

- Тетя Вера, куда ты так строку гонишь? Всех денег не заработаешь.

- Молчи, милостивый государь!

О, если уж милостивым государем обозвали, то худо его дело.

- Пойду душ приму, - уныло сказал Геннадий, предвидя, что и из дома теперь не выбраться, и трудного разговора не избежать. Под портретом разговора. Вон он - капитан первого ранга, молодой, крепколицый, строгий. Висит, как икона. А на него тут и молятся, и вот именно что под портретом этим и усаживает Геннадия тетушка, когда приходит неизбежная необходимость высказать ему, что она о нем, непутевом, думает. Господи, какая бедная у них комната, какая убогая мебель! Повел глазами от этого портрета, а только и смотреть здесь можно на этот портрет. Нарядный мундир, три звезды на погонах с просветом, ордена, и не шуточные. Одна тут удача, один тут признак успеха - этот портрет. А все остальное твердит, кричит о бедности. Из года в год, из года в год. Но гордой бедности. Все тут чисто, прибрано, всякая вещь обласкана заботой и потому и служит этим людям, давно заступив в возраст ветхости, в пенсионный свой возраст - есть и для вещей пора пенсии, пора покоя. Свалки, что ли? А это как поглядеть. Да, старье кругом, из прошлого века диван, стол, стулья, шкаф этот, набитый старыми книгами. Поднови все это, может, и какой-нибудь любитель старины купил бы, гордясь, у себя бы выставил. Но здесь были не подновленные вещи, а ухоженные, оберегаемые, а потому они не казались старинными, они казались здесь просто старыми, но, увы, необходимыми.

Хотя вот в углу, где его койка и его столик, Геннадий обнаружил и совсем новую вещь, этот магнитофон кассетный, сработанный где-то в Гонконге. Каким же убогим сейчас показался ему этот ящичек, которым он так гордился. Все, все померкло! А эти цветные открытки с любимыми киногероями и киногероинями, которые он собирал и наклеивал на картонный лист, - на них, в эти лица счастливые да красивые, просто тошно было глядеть. Там была и Анна Лунина, в центре была. Вышвырнуть к чертям собачьим этот картон! Завтра же! Нет, немедленно! Геннадий шагнул в свой угол, сорвал со стены картон с кинозвездами, решительно протянул Клавдии Дмитриевне.

- Дарю! Повесьте у себя в комнате. Ведь вы когда-то тоже были актрисой. Или чем-то в этом роде.

- Мальчик, тебя обидели там? - внимательно поглядела на Геннадия старуха. А машинка за спиной смолкла.

- Прошу, возьмите. - Он приставил к спинке стула картон и стремительно вышел из комнаты. И понял: да, его там обидели. Нет, не понял, а ощутил эту обиду. Горько, сиром стало на душе. Как в детстве, когда обижался в детстве. Но тогда можно было поревевать хоть, забившись в угол, можно было наказать родную тетку, отказавшись от обеда, - пусть, пусть страдает. Сейчас ничего этого сделать нельзя было, ни с кем не споловинить жжения этого в груди, обиды этой.

В их квартире, в старой квартире, в старом, дореволюционной постройки доходном доме, жило несколько семейств, все больше старики остались. Ванная комната у них была загромождена старыми вещами, стариками-вещами. Но все же душ работал. Старинный, обширный, как зонтик. Он бы мог поменять тут все, но не хотел, "зонтик" служил отлично, медные краны были надежными, хоть им было близко к ста. А ванная сама была размерами в нынешний небольшой бассейн.

Он встал под душ, содрал прилипшую, пропотевшую одежду. Хрустнули, напомнили о себе четвертные. Куда-нибудь бы деть их поскорее. Купить какую-нибудь ненужную вещь,

притащить в дом. Пусть сверкает среди старья. А зачем? Да и тетка вышвырнет, укорив: "Твой дядя ни одного рубля не заработал бесчестно".

Он встал под душ, пустив яростно горячую воду, хотя хотел пустить холодную, в спешке спутал краны. Но сперва даже не заметил, что шпарит на него кипятком. Заметив же, зло сам себя этим кипятком высек. Задохнувшись, терпел и терпел. А когда понял, что сейчас сварится, рванул тело в сторону. Кровь гудела, звенела в нем, он сильно обжегся. Так в парилке случается, если неразумно шагнешь через две-три ступени, сразу ступив под потолок. Но зато обида унялась, забылась, он ее выгнал кипятком.

Мокрый, в одних трусах, Геннадий ворвался в комнату - он забыл взять полотенце, - красный, ошпаренный, готовый к бою, ожидая, что сейчас-то уж тетушка заговорит.

Но Вера Андреевна, пойми ее, вдруг встретила его самой приветливой улыбкой. Даже не заметила, не указала, а должна бы была, что в одних трусах по дому не бегают, не мальчик ведь уже, не ребенок. Нет, обрадовалась ему, заулыбалась, выставив из буфета чашку для него и банку с вареньем - этот наивысший признак расположения.

- А после душа - чаек. Что может быть лучше, полезней?

Маленькая, усохшая, сгорбленная от своей нелегкой работы - день за днем, год за годом, десятилетие за десятилетием. Он обнял ее за плечи, прижал к себе - мокрый, несчастный, растроганный.

- Ну, ну, ну, ну, ну, ну, - сказала она строго, лишь на миг какой-то прижав седенькую, с поределым пучком головку к его выкрасневшейся, мокрой груди. - Ну, ну, ну, ну, ну... - И пошла от него, видимо считая, что сказала все, что надобно было сказать, - предостерегла, ободрила, напомнила, что она - с ним, и что она вдова капитана первого ранга, и что у них трудовая семья, честная, что и его отец, Сторожев Николай, был честен, добр, благороден, что они из дворян, если копнуть, из обедневших дворянских московских родов, из тех самых, что слали своих сыновей на трудное, на высокое, на бой с врагом - и от века, от века. И нам не пристало...

- Я пошла, Вера Андреевна, - прощebetала старушка-гостья. - Пьер, мы уходим. Спасибо душевное за кофеек. Мон Дье, я никогда не сую нос в чужие дела. У нас, в нашем тут переулке, чего только не случалось. Но все же мальчик еще молод, а Кочергин этот в матерой поре. Я знаю им цену - этим в седину, когда бес в ребро. Я считала, Вера Андреевна, своим долгом...

- Спасибо вам, Клавушка, что навестили. Заходите. Будь благополучен, Пьер!

Древняя старушка с покачивающимся на ее плече древним попугаем важно засемила к двери, гордая своей миссией и что вот кофейком угостили, что все чин по чину, как и должно в кругу порядочных людей, среди соседей.

- Фотографии прихватите, - сказал Геннадий и понес за ней картон.

- Ну что ж, я, пожалуй, приму твой подарок, они милы, эти нынешние баловни удачи. Но только, Геннадий, ведь ты пожалеешь потом, тут такие есть милашки.

- Не пожалею.

- Тогда прошу тебя, занеси этот свой дар как-нибудь ко мне домой. Мне тащить-то трудно, с Пьером-то на плече.

- Хорошо, я занесу.

- Как-нибудь... - И она удалилась, гордая собой, довольная задавшимися для нее днем.

А тетка снова уже сидела за машинкой, закладывая в каретку новые страницы. Вот-вот затрещит машинка.

- Я, пожалуй, пойду погуляю, - сказал Геннадий, не веря, что легко сумеет вырваться из дома.

- Конечно, конечно. А обед?

- Я сыт.

- Да, да, ну, конечно. А теперь к своей даме?

- Пожалуй.

- Что ж, ну что ж, не маленький. - Смирение свое Вера Андреевна простучала по клавишам. Медленно начала страницу, она как бы спрашивала машинку, как ей быть. Машинка рассудительно ответила ей: тук-тук - не маленький, тук-тук - пусть уж идет к этой женщине, которая его любит, привязана к нему, иногда такие союзы бывают благотворны.

9

Зина жила через два дома от него - все у него рядом. Ее дом, зелененький, веселенький, ставший таким в пору, когда все прихорашивали в Москве к Олимпиаде, был похож (ну, с громадным, конечно, уменьшением и в размерах и в качестве всех деталей), но все же был похож аж на Зимний дворец. Все это примечали. Мини-размини Зимнего дворца. И вот в такой же цвет зеленый покрашен домик, лепнин на нем всяких множество, завитушки, корзиночки эти из гипса, вроде крылышек ангелочков, некое подобие колонн. Дворец, да и только, но... для бедноты здешней, но для голытьбы грачевской. Это, как выходное платье горничной, совсем-совсем почти такое же, как и у ее барыни, богачки и первой модницы на Москве.

Дом этот зелененький возник тут в таких же, что в Головином, что и по соседству, в присретенских переулках и на Трубной улице, по воле скудной фантазии их владельцев, а может быть, и подлой фантазии. Публичные это всё были домики. А их веселенькие фасады были зазывалами. Какие беды могли случиться с человеком, вошедшим в такой вот приветливый домик? Окошки светленькие, занавесочки легонькие, завитушки наивненькие. Да то давно было, давным-давно.

И теперь в этих домах, какие еще уцелели, все внутри было перестроено, иначе выгорожено, зальцы для танцев стали квартирами, укромные комнатки соединились, поширились, став просто жильем для людей скромных, трудовых, наехавших в Москву со всех концов страны в двадцатые и тридцатые годы, слыхом не слыхавших о дурной славе этих мест, только уж потом про все разузнавших. А разузнав, ревниво - их же теперь это были места - отделили все плохое от хорошего. Было тут и хорошее. Присретенские переулки из глубокой старины славны были своими ремесленниками. Они и название получили от ремесла своих жителей. Печатников переулочек - тут жили печатники, изготовители красочных картинок, лубков, которые выносили продавать к Сухаревке и вывешивали для показа на стенах церкви Святой Троицы. Так давно это повелось и так укоренилось, что церковь эту, а она семнадцатого века, стали называть Святой Троицы в листах. Именно в листах печатников из Печатникова. А в Пушкинском жили стрельцы, а в Колокольниковом - те, кто в Москве отливали колокола. И их

Последний переулочек сперва назывался Мясным, в нем мясники жили, находились мясные лавки, кормившие всю древнюю середину Москвы до самого Кремля. Это уж потом, совсем недавно, если говорить об истории этих древних московских мест, стали они служить Сухаревской толкучке, рынку, торгу. Вот тогда-то все и закрутилось и замутилось. Да, а вот в Пушкаревом переулочке, он теперь называется улицей Хмелева, был в двадцатых годах в подвале громадного доходного дома, тоже не без мутных денечков в прошлом, театр. В нем начинал артист Ростислав Плятт, играл потом и Хмелев. А сейчас это филиал Театра имени Маяковского. А на улице Трубной вот вам, пожалуйста, - на той самой-рассамой, в 1879 году жил с семьей, переехав из Таганрога, студент Антон Чехов. Сперва в одном доме они жили, потом в другом. Это всё факты, и это все к чести их старинных переулочков.

Геннадий про все это знал преотлично, перечитал уйму книг. Он любил свои переулочки, он родился ведь тут. Для кого где родная земля, а для него - эта. И пусть не надуваются иные, что у них места покраще, почище, с историей от века распрекрасной. Нет, а если копнуть, то всякое бывало и там и тут, и окрест и поодаль.

Он обычно звонил Зинаиде, прежде чем идти к ней. Но она всегда радостно откликнулась: "Приходи! Жду!" И Геннадий решил сегодня без звонка явиться. Он сперва не хотел идти к ней. Прошел по своему переулочку, думая встретить кого из приятелей, вошел в Головин, все поглядывая вокруг да вот размышляя про эти дома, и про этот тоже, хмурый и с утайкой, спрятавшийся за могучим тополем и за цокольной стеной большого дома. Что там у них? Все игры играют? Бродил-ходил - и вдруг свернул к подъезду выкрашенного в веселенький зеленый цвет мини-размини Зимнего дворца. Мутно было на душе, не надо было идти с такой душой к женщине, которая обрадуется ему, просветлеет, начнет вокруг него хлопотать, кормить-поить, влюбленные не отводя глаза. А, все они одинаковые!

По длинному коридору, в который выходили двери комнат-квартир и которому тесно было от старых, отживших вещей, Геннадий шел совсем уж медленно, всякий миг готовый повернуть назад. Вспомнилась, стала в глазах прихожая в хитром домике Кочергина. Такие же половицы зашарканые, такие же старые, покривившиеся шкафы, дубовые, хмурые, все про все познавшие, про людскую эту муть, а то и жуть. Здесь и запах стоял тот же. Но там, за дверью с врезанными заморскими замками, распахивался рай, чудеса открывались, а здесь, за любой тут дверью, да и за той, в конце коридора, куда путь держит, откроется его глазам новенькая, чистенькая бедность, бедность, бедность. Все, разумеется, как у людей. Холодильник, телевизор, палас на полу, коврик на стене, но бедность, бедность, бедность. Вчера еще не догадывался про это, сегодня - догадался.

Ладно, раз уж зашел в дом, надо и в дверь позвонить. Тем более что иные из дверей уже приотворились, кто-то глянул на него из-за дверей, усекло, так сказать, общественное око, что явился не растворился Зинкин-то мальчишечка. Слышал он, как какая-то дамочка шепнула из-за щели, игривый ее голос достиг слуха: "Молодой, красивый... Везет на мужчин некоторым..."

Он знал, так тут все считали, что его Зинаиде повезло с ним. Моложе, много моложе ее. Раз. И верно, рослый, говорят, что и красивый. Два. За себя постоять может - это известно. Профессия такая, что без денег не бывает. Вот и три вам и четыре. Думая все это, подбадривая себя этой чепухой, что молодой да красивый, но думая о другом - рядом шли мысли, теснясь, толкаясь плечами, - думая, как они там сейчас, какие у них там сейчас игры играют, - всё про это, про это не шли из головы мысли, - Геннадий прибрел наконец к двери в конце коридора. Она была аккуратно обита клеенкой, буро-коричневой, точно такой же, как и на других дверях. Ручка замка была такой же, замок такой же, все, как у других, не хуже, чем у людей. Да только вот люди были все же разные. За этой дверью жила Зинаида. Один человек. Та женщина, что горячо шепнула в спину, - другой человек. Но женщины и женщины, как и Анна Лунина. Все они одинаковые! Хмуро было, мутно было на душе. Он звонить не стал, постучал условленно - два коротких, три быстрых, Зина просила стучать, а не звонить.

Объяснила честно, что ведь навевываются к ней из бывшего мужички, поддаст какой да и свернет к ней. А она верна ему, как у них началось, она только с ним, с одним только с ним. "Верить мне?" Он верил. Не потому, что ей доверял, а самоуверен был. В молодости завышаем мы себе цену. В молодости не знаем мы, сколь причудлива бывает жизнь, сколько всего в ней понапутано. Жизненный опыт потому и опыт, что тычет нас лбом то в одно, то в другое. Жизненный опыт... Вот сегодня и ткнули Геннадия лбом да и носом об стену в том хитром домике. Какой правдивый у нее был голос, он сперва в голос ее влюбился, в правду его, честность. А она, с этим своим голосом, с распахнутыми этими глазами вон какие умела игры играть, не стыдась даже, что со стороны смотрят. Актриса, ей зрители и нужны. Он там и сидел у них в первом ряду партера. Жгло кожу на плечах от кипятка, жгло душу.

Сперва никто не откликнулся на его стук, замерло там, в квартирке. Но Зинаида была дома. Еще до стука в дверь уловил Геннадий какой-то там шорох, жизнь уловил, нет, не пустой была комната.

И сейчас слышался шорох, босые ступни прошелестели, встали по ту сторону двери.

- Геннадий, это ты? - не отворяя, спросила Зинаида.

- Я.

- Так что ж ты не позвонил сперва?

- А какая разница? Ну, двушки не было.

- Двушки... - Она укоряла, упрекала его из-за двери. Женщина всегда права и всегда сумеет укорить. - Эх ты... Не одна я, Геннадий... Целый месяц тебя не было... Где пропадал?.. Хоть бы позвонил по телефону... - Она начинала выговаривать ему. Вон как, это он виноват, что она не может ему отворить.

- Да что там у тебя? - Он все еще не мог до конца все понять.

Из-за двери, из глубины далекой, слышался мужской голос: "Зинок, ты чего там?.."

- Понял, ну, ну, - сказал Геннадий, даже голосом подражая старшему лейтенанту милиции. - Так я пойду, Зина.

Там, за дверью, какие-то звуки странные слышались. Не плакала ли эта женщина?

10

Вот теперь действительно пришел в их переулок вечер. Темно было, хорошо, что темно. Никто тебя не станет разглядывать - веселый ты, нет ли. Темно! Только и свету, что фонарь яркий у милиции да фонарь далекий у выхода на Сретенку. А окна в домах темны или в синеву отдают, там, значит, смотрят сейчас телевизор. Ну просто синяя пустыня, а не переулок. Все у телевизоров или возле своих баб. А бабы эти - все они одинаковые! Все! Ей-богу, отчего-то полегче стало у Геннадия на душе. Это оттого, что повзрослел он за нынешний день лет этак на десять. Мы смолоду ведь впечатлительные. А потом черстветь начинаем благодаря его величеству Жизненному Опыту. Преподавал ему нынче этот Опыт урок. Один, другой, набил на лбу шишки. Что ж, ну что ж, а друзья у него есть, парни эти родные у него есть, куда ни глянь, в какой дом ни взойди, они есть, есть. К ним сейчас надо идти, они не сфинтят, они надежны, проверены, с ними проверенно.

Куда податься? К кому?

На Сретенке, сразу за углом, барчик крохотный недавно возник. Вот туда, в этот барчик. Если ребята при деньгах, они там. Если их там нет, вмиг соберет, кого с улицы выкрикнув, кому позвонив. Есть, есть у него двушки, целая пригоршня. Ах вы двушки проклятые! Нет чтобы прозвенеть вам в кармане, когда шел к бабе! Вот эти вот четвертные - они все время хрустят, напоминают о себе. Сейчас он их разомнет у стойки! Допросились!

Кое-кто из друзей оказался в баре - вон сидят, пригнувшись к столику, о чем-то секретничая, голова к голове. А какие сейчас у них секреты, известны все их секреты в данный момент. Где бы раздобыть бутылочку в вечернее время да как бы ее тут тайком от барменши разлить по стаканам - вот и все тайны, вся печаль в три головы. В баре, как известно, водку не продавали. А коньяк, как известно, штука дорогая.

Не вглядываясь, кто да кто за столом, а в баре, как положено, полумрак стоял, огоньки светильников лишь тени бросали, а не свет, Геннадий подошел к молодой, но очень уж толстой женщине за стойкой, шепнул ей, таясь от приятелей, лицо отворачивая от их столика:

- Сестричка, две бутылки коньяку, какой подороже, и вон те бутербродики, черным у тебя вымазанные.

- Рехнулся, братик? - тоже шепотом спросила барменша. - Подороже - это четвертной за флакон. "Кишинев", десять лет от роду. И с икоркой они ведь не дешевые.

Геннадий молча выложил на стойку свои четвертные, стиснул, хрустнул ими, развел, чтобы убедилась, сосчитала, сколько их у него.

- О! - Барменша уважительно глянула на Геннадия, но тотчас и пожалела парня. - Ты - чего, откуда? Не натворил ли бед?

- У меня тетка есть родная, Вера Андреевна, вот она меня и спросит-расспросит. Сестричка, и еще яичницу сооруди. Из целого десятка.

- Не делаем, знаешь.

- Плачу. Втрое. Впятеро.

- Да что, какая с тобой беда стряслась?

- Все у меня в порядке, не страшись, не на краденые гуляю. Будет яичница?

- Разве что из своих... Припасла для дома десяточек.

- Отлично! И разбей их, расколи о край сковороды. Лук есть зеленый? А брынза? Вдруг да и брынза у тебя есть, припасенная для дома? Учти, плачу в пятикратном размере.

- Свихнулся парень. Лук есть, и сыр найдется. А вот уж брынзы, господин капиталист, не запасла, виновата.

- Хорошо, пускай будет сыр. И быстро, быстро! - Геннадий схватил бутылки, тарелку с бутербродами, крадучись, делая вид, что идет не к их столику, сперва спиной двигаясь в сторону приятелей, вдруг обернулся и со стуком, лихо выставил перед ними на стол свои царские дары.

- А?! Кто да кто тут?! Ты, Славик?! Ты, Димка?! Ты, Николаха?! Вы-то мне и нужны!

Как писали классики в своих ремарках, за столом произошла немая сцена. Парни поднялись, ошалело уставившись на дорогие бутылки, на черные бутерброды. Ну, а потом низенький потолок бара был сотрясен могучим воплем восторга. И, конечно же, кинулись парни обнимать и целовать щедрого своего друга, делая это умело, натренированно, ибо нагляделись на эти коллективные мужские поцелуи и объятия, без которых сейчас не обходится ни один матч, хоть в Москве, хоть в Лондоне, хоть в Мытищах. Да и они сами, гоня мячик на пустыре или шайбу на пруду, чуть забив гол, кидались обниматься и целоваться.

- За дело, за дело, братва, - высвобождаясь из объятий, сказал Геннадий. - Напиток этот легко выдыхается. - Он сбегал к стойке за стаканами, торопливо, не присаживаясь, разлил коньяк, вскинул руку: Приветствую вас, идущие на бой!

"Идущие", тоже не присаживаясь, дружно выпили, из-за кромки стаканов послеживая друг за другом, как идет это пойло, до дна ли принял сотоварищ. До дна, до дна все приняли. Одинаково потом покрутили кудлатыми головушками, одинаково недоверчиво ухмыльнулись, уселись.

- Пивал, знаком мне город Кишинев, - сказал один, продышавшись. Красивый город, а водка лучше. Ты что, Гена, халтурку клевою обмываешь? А я вот за тебя сегодня люстру навешивал, взмок весь. То хозяйке выше, то хозяйке ниже. Прямо как в анекдоте. Я даже хотел ей этот анекдот рассказать, но тут вошел муж.

- За то, что за меня поработал, и ставлю, Дима, - сказал Геннадий.

- Щедро, хозяин, щедро. Бросаю жэк, иду к тебе в услужение. Нет, кроме дуриков, что случилось, Гена? Задел кто-нибудь по самолюбию?

Друзья, вот они, сидят, смотрят в глаза, вглядываются, хоть и темно тут, многого не углядишь, и ждут только слова от него одного, чтобы кинуться на его защиту. Кинуться! Они - такие.

- Есть немножко, - пряча глаза, сказал Геннадий. Дожил, к слезам потянуло. Клюшкой по голове получал, по коленкам - не плакал, а тут... Повторим? Без вопросов, а?

- Никаких вопросов!.. Скажи только, кого... А уж мы...

Друзья - вот они - свели сильные руки со стаканами, смотрят в глаза, все поняв, ничего не зная. И встанут стеной за него, скажи только против кого. А против кого? Сказать, что баба изменила, как шлюшка? Рассказать про Аню эту в халатике? Про хитрый этот домик? Про римлянина этого в тунике из того домика? Ничего не скажешь, ничего не расскажешь. Не на кого кидаться.

- Спасибо, ребята, спасибо, - сказал Геннадий, до каждого дотронувшись рукой. - Отыскал вас, и все хорошо. Поехали?

- Покатили! В пас! Штука!

И тут вдруг распахнулась дверь из подсобки за стойкой, и круглая барменша, горделиво покачивая фирменными бедрами - в джинсах она была, даром что толста-претолста, - гордо вынесла на вознесенном подносе обширную сковороду, на которой еще потрескивала, еще шипела богатырская яичница.

- Натё, лопаите, господа! - Она шмякнула ловко сковороду на стол, ввергая друзей Геннадия в очередной столбняк. - И лучок вам, и сырок вам. Как велено господином интуристом. Господин хороший, вы откуда к нам, из какой такой заморщины?

Геннадий подхватил игру:

- А я из сретенских соединенных штатов, мадам. Головин, Пушкарёв, Последний, Большой Сухаревский. Из этих вот штатов. Слыхали?

- Как же, как же. Места знаменитые. Проходные, сквозные, продувные. А вы, джентльмены, оттедова ж?

- Оттедова ж!

- Сестричка, садись с нами. Джентльмены, встать! - приказал Геннадий.

Джентльмены поднялись.

- Нельзя, господа, у нас в СССР свои порядки. Да вот сейчас вы про них узнаете. - Барменша, начав фразу с улыбкой, закончила ее, увяв совершенно. И быстро, на двух своих шарах, покатила от стола назад к стойке, укрылась за барьером.

А в бар вошли важные, важно оглядывающиеся строгоглазые дружинники. Их было трое. Двое мужчин и девушка. Строги-то они были строги, но в "весе пера", что ли. Мужчины не шибко рослые и сильные с виду, а спутница их тоненькая, невысокая. Только и силы, что в символах силы, в этих вот красных повязках на рукавах.

Девушка подошла к их столику, сказала строго:

- Что это? Да у вас тут целый ресторан! Товарищ заведующая, надо ли напоминать вам, что ничего подобного в вашем баре быть не должно?!

- Да вот ребятишки здешние день рождения друга отмечают, - виновато отозвалась барменша, издали грозя Геннадию кулаком. - Слабохарактерная я, беда со мной.

- Да, беда, несомненно. И шум такой подняли, что мы не могли не вмешаться. День рождения? Это у кого же из вас?

- Зиночка, да пойдём, ребята мирные, - позвал один из дружинников.

- Зиночка? Надо же! У меня день рождения, Зиночка, - сказал Геннадий, поднимаясь. - Зиночка, Зинаида, Зинуля... Как там еще? Зинаидушка... Прошу, присаживайся. Зинушенька, Зинуля моя милая... Пришла! Ах ты радость моя! Зинок ты милый!

- Да вы пьяны, молодой человек! Товарищи, товарищи! - Она оглянулась к своим спутникам. - Он же пьян невероятно!

- Нет, Зина, Зиночка, Зинуленька, я не пьян. Садись, ну присядь со мной. И парней своих зови. Друзья, присаживайтесь. Мне сегодня стукнуло раз, два и т.д... Верно, родился, вылупился. Прошу! Сестричка, гони еще один "Кишинев" и тарелку дамской размазни. А это мои друзья, самые-самые. Славик. Дима. Коля. Вы нас не обижайте отказом. Мы народ мирный, но обидчивый. А вас мы уважаем, вы наши защитники, как же, очень уважаем. Нас без вас бы тут били-лупили. А так... Ребята, тащите их, усаживайте.

Что поделаешь? Четверо сильных парней вежливенько так, без насилия, но и твердой рукой подвели мужчин-дружинников к столу, пододвинули им стулья, усадили. Что тут можно поделаться? Не отбиваться же? Да и попробуй отбейся от таких. Уступила и маленькая строгая Зина. Но прежде чем сесть, она вынула из сумочки очки, нацепила на носик, взгляделась внимательно в Геннадия. Мол, должна же я понять, что это за человек. Разглядела, вымолвила свой приговор:

- Нет, вы не пьяны, во всяком случае не очень. - Догадалась, догадливый народ женщины, даже и такие, еще пока осторожные жизнью: - У вас неприятности? С какой-то Зиной?
- Не то слово, взяла да и изменила мне, - сказал Геннадий, дивясь, что взял да и признался, сказал правду про стыдное для себя.
- Вам?.. Это вы, наверное, ей. Впрочем, это не мое дело. Но только мы не пьем, товарищи. А уж коньяк и подавно. Не смейте разливать, мы же на дежурстве!
- А контакт с народом, с населением должен же быть у вас? - сказал Дима, востроносенький, быстроглазый, усмешливый парень. - Узнаете, кто есть кто. Коньяк в таких случаях - отличный ускоритель.
- Студент? - спросил один из дружинников, застенчиво принимая протянутый ему стакан. - Зина, собственно говоря...
- Ни в коем случае, Вадим Петрович! Как вы не понимаете?.. Поставьте стакан! И вы тоже, Сашенька! Нет, друзья, мы пить с вами не станем. Разве что чашечку кофе. Поймите нас правильно, мы на дежурстве, патрулируем. Было бы нонсенсом, если бы мы тут с вами напились!
- Кофеек патрулю! - крикнул Геннадий. - И тарелку с нонсенсами, я хотел сказать, с пирожными!
- А вы не без юмора, - сказала Зина. - Нет, правда, друзья, вы студенты? Да что я, вы все старше студенческих лет. Молодые инженеры? Физики? Филологи? Вы - здешние?
- Мы здешние, - сказал Дима. - Я - слесарь-водопроводчик. Он именинник наш - электрик и вообще на все руки. Николай - сантехник, гроза засоров, как и я. Славик - плотник, столярничает. Мы не из МГУ, мы из ПТУ. В прошлом, конечно. Все четверо не женаты. Профессии у нас такие, что многое видим. А ведь женятся сослепу. Верно говорю? Вы-то замужем?
- Нет. Профессия такая...
- Извините, а вы от какого учреждения здесь к отпуску три дня прирабатываете?
- Что значит к отпуску? Работа дружинника - это общественное поручение.
- Знаю, согласен, сам иногда дружиню. А все-таки что три дня к отпуску за это прибавляют, это существенно.
- А я вот кровь сдаю, - сказал крупный, медлительный Николай. - Еще два дня к отпуску.
- Фу, какой практицизм! - сказала Зина.
- Фу да фу - и пять дней к отпуску, - сказал Славик, вот именно что Славик - славный, светленький паренечек, но с колкими, в упор рассматривающими глазками.
- Грянула музыка. Вальс.
- Предупреждение! - крикнула барменша. - Последний вальс, скоро закрываемся!
- Вот как вы ее напугали, - сказал Геннадий поднимаясь. - Прошу вас, Зина, покружимся.
- Что было делать? Он уже подхватил ее сильными руками.
- А глаза у вас грустные, - сказала она, подчиняясь этим рукам, уступая, вступая в кружение.

Он промолчал, прижав к себе маленькое, крепкое тело этой девушки с красной повязкой на рукаве, нахально соскользнув рукой к ее бедрам - все они одинаковые! Она была в совсем новых брюках из джинсовой ткани, сужающихся к щиколоткам. Наимоднейшие дамские штаны. Он знал, как они называются. "Бананы" - вот как. Она была в "бананах", но на вырост. Не нашелся у спекулянтки ее номер. Штаны отличные, с молниями где нужно и не нужно, но - на вырост. И когда ладонь соскользнула к бедру, то только и ощутил он топорщащуюся, грубую джинсовую ткань. А крепенький ее задок упрятался, отгородился, она и не почувствовала его руки.

- "Бананы" с рук брали? - спросил он.

- Уберите руку! Это просто какой-то нонсенс, в какую мы попали ситуацию!

- Да вы не бойтесь.

- Это вы не бойтесь. Учтите, я танцую с вами только потому, что мне вас жаль. У вас неприятности, это видно невооруженным глазом.

- А уж в очках-то и подавно. Телефончик дадите?

- Боже, он собирается мне звонить! Познакомился! Поймите, это же нонсенс!

Правдами-неправдами, дружески, только дружески, но все же понуждая, а силы были неравные, парни уговорили - убедили! - пригубить и раз и другой и Вадима Петровича, и Александра Андреевича, да и самую Зинаиду Павловну. Ну, а коньяк, особенно если он такой старый, такой хитрый от своей старости, лукавый, коварно действующий, он свое дело знал, он сам тоже умел себя предложить - чуть зазевался, а стакан уж у губ, и потягиваешь, потягиваешь за разговором, в игре да в смехе.

Да и велик ли грех? И верно, надо же познакомиться с местным "бомондом", если твой тут район патрулирования. Не только строгостью, но дружескими связями силен бывает дружинник при экстремальных разных случаях. Это просто удача, что так все вышло, что эти парни теперь станут им приятелями. А эти парни, для которых здешний бар, видимо, что-то вроде их личного клуба - сюда никто больше и не зашел с улицы, - а они, собственно говоря, ничего же плохого не делают. Справляют день рождения друга. Кстати, славный парень. И у него грустные-прегрустные глаза.

Когда Геннадий, проводив Зину (а она неподалеку жила, по ту сторону Сретенки, в Даевом переулке, - всё у него рядом), когда он рискнул ее поцеловать в подъезде ее дома, она не стала отбиваться.

Только шепнула, чуть задохнувшись:

- Но ведь это же нонсенс! - И побежала, вырвавшись, вверх по лестнице, смешно бултыхаясь маленькими крепкими бедрами в "бананах" на вырост. А, все они одинаковые! Он побрел, покачиваясь, домой.

11

Наутро, ровно в девять часов, Геннадий звонил в дверь дома Кочергина. Позвонил и замер, ожидая, что сейчас отворит дверь Аня. В халатике? Без бельишка опять? Он бы, может, и не пришел сюда сейчас, хоть и обещал, но притянул канат, на канате его кто-то приволок сюда. Кто же это? Что за канат? Чуть разлепил глаза утром, а уже понял, что пойдет к Кочергину,

что не увернуться ему, не сможет. Такой это был канат, так сразу натянулся, потянул.

Но отворила не Аня, сам Кочергин стоял на пороге.

- Пришел? - Он обрадовался Геннадию, улыбнулся щедро. - А я загадал: если придешь, значит, все у меня обойдется, притрется, уляжется. Молодец, что пришел! - Кочергин был в белоснежной рубашке, галстук новый и еще лучше вчерашнего, костюм тоже другой и тоже еще лучше, чем вчерашний, сменил и башмаки, модные на еще моднее.

- Вы как на свадьбу собрались, - сказал Геннадий. - Не с Аней ли в брак вступаете?

- Не завидуй, не завидуй, Гена. Моим советом не воспользовался?

- Сверх меры. Сразу с двумя Зинами дело имел.

- Ну ты даешь! А что, так и следует поступать, если не хочешь увязнуть. Одна любовница - это серьезно, две - это забава.

- У вас серьезно?

- Я вообще в очень серьезной полосе, Геннадий. Вот что, я раздумал. Никаких записок. Поеду сам. Но ты мне нужен. Зачем? Поймешь по ходу пьесы. Еще денек мне даришь? Условия те же.

- Суббота - не работа.

- Отлично! Сбегай на Трубную, возьми такси и гони его... ну, хотя бы в Малый Сухаревский, к нашей школе. Минут через десять и я там буду. Давай! Кочергин притворил дверь, а Геннадий повернулся и побежал. Мог бы и не бежать, но побежал, ведь Кочергин сказал: "сбегай". От Кочергина, который был совершенно спокоен, от слов его совершенно спокойных исходил такой жар, лихорадка такая жила в нем, что и Геннадию она передалась. Канат притянул, жар подхватил, толкнул, - он только подчинился.

Пожилый таксист, прежде чем согласиться ехать, принялся расспрашивать, куда да зачем, да сколько ждать-стоять. Геннадий ни на один из его вопросов ответить не мог. Но уже перенял манеру:

- Не твоя забота, дядя. Четвертной сверх счетчика.

Поехали, свернули в первый же переулок от Трубной площади, и вот она, их школа. Геннадий вышел из машины, подошел к дверям. Сколько раз он их отшвыривал, вбегая, выбегая. А раньше, больше трех десятков лет назад, другой мальчишка тут хлопал этой коричневой, в небрежной покраске дверью. Ремкой он сперва был, потом подрос и стал Ремом. Наверное, умел постоять за себя. И сейчас вон какой крепкий. Спортом занимался. Наверное, и боксом. Тут все ребята умели постоять за себя. Район такой. Вон - Центральный рынок за рядом старых домов. Трубная - слева, Самотека - справа. Боевые места. А там, дальше, путь к Марьиной роще. Куда как боевые места. А перед глазами его переулочки, взойди попробуй кто чужой из пацанья. Смелых парней обучала эта школа, отчаянных. Узнать бы, каким тут Рем этот был. А зачем? И так ясно, что умел за себя постоять. Волчком рос. Рем - это же волк, кажется. Рем и Ромул... Нет, спутал, это их, двух братьев, вскормила волчица. Да то давно было, в Древнем Риме. Еще и Рима не было, от Ромула и Рим. Все-таки вспоминалась школьная наука. Взойти, что ли, подняться на второй этаж? А зачем? С какими такими достижениями? Вдруг встретится кто из учителей: "Что подельываешь? Чего добился?" Любят учителя расспрашивать об успехах. Им подавай одних только чемпионов, академиков и министров, из тех, кого они тут воспитывали. Самим не удалось, в учениках себя доказывают.

Рем Степанович неслышно подошел, встал за спиной, спросил угадливо, умный, что говорить:

- Что, с учителями беседуешь? Мол, не всем же быть учеными да генералами? А ты им вот что ответь, Геннадий. Ты им скажи, что ты - честно живешь на свете, честно. И потому ты счастливый-рассчастливый. Так им и скажи. Денег мало? Ну вот у меня их много! Сверх и поверх! Ну и что? И должность у меня ого-го какая. Ну и что? Счастлив я, как думаешь?

- Думаю, что не очень.

- В том-то и дело.

- А Аня?

- Что - Аня? Ладно, поехали! - Рем Степанович сел на заднее сиденье, шибко прихлопнул дверь. - Садись вперед. Куда сперва? - Это он сам себя спросил вслух, но показалось, будто Геннадия спрашивает. Тот обернулся:

- Я не знаю.

- Я, думаешь, знаю? Ладно, сперва близкий путь. Гони, шеф, в старозаветное наше Замоскворечье, на Пятницкую.

- Большая езда предстоит? - спросил водитель. - Молодой человек обещал четвертной сверх счетчика.

- Молодой человек скуповат у нас. Гони, шеф, не обижу.

- Москвич! Порода! - глянул, повеселев, таксист на Геннадия. Он обернулся: - А что, персональная на техосмотре? Или в субботу-воскресенье вам не подают?

- Подают, шеф. И днем и ночью. В том-то и дело. Потому-то и на такси потянуло.

- Ясно, приходилось сталкиваться с подобными случаями.

- Уж с чем только не приходилось, наверное, сталкиваться. Сколько за баранкой?

- Тридцатку намотал.

- Не надоело?

- Еще поработаю.

- А мне - надоело.

- Так ведь у вас не работа, а должность.

- Как это не работа?

- Ну - пост.

- Вот так сказанул! - Рем Степанович повеселел даже. - Стало быть, у кого пост, те не работники? Верно понял?

- Не обижайтесь, товарищ уважаемый. Я в том смысле, что если вас лишить, скажем, поста, то у вас и профессии в руках не окажется. А у меня отними баранку, я слесарить пойду. Могу и на трактор перескочить, в сельское хозяйство. Могу и маляром быть, могу плотником. Меня увольнение не унизит, не сшибет. А вас - унизит, сшибет. Оттого вы, начальнички, так и

цепляетесь за посты, так оттого и нервничаете.

- Что ж, шеф, ты близок к истине. Но ведь могут и посадить тебя. Сажают же кой-кого из ваших. Что - тогда?

- Если махинации стал творить? В этом случае?

- Хотя бы.

- А что, и в этом случае мне легче будет, чем вам. Падать ниже.

- Ох, московские таксисты, на все у вас есть ответ!

- Это точно. Пока колесишь, о чем только не подумаешь. Тренировочка. Да и разных людей возишь, беседуешь, как сейчас. Вот вы наверняка на Москве знаменитость, угадал?

- Да как сказать.

- Угадал, угадал. Видно сокола по полету, а начальничка по глазам.

- Что за глаза у меня такие?

- Нашенские, голубенькие, а в сталь. Извините, что разболтался, суббота - легкая езда, опустел город, все по дачам, по речкам.

- Ты в нашу школу давно заглядывал? - меняя тему разговора, будто перегородку из стекла ставя между собой и шофером, спросил Рем Степанович Геннадия.

- После армии как-то раз заглянул.

- И все?

- Не зовут. Не прославился. А по жэку - не мой участок.

- А меня зовут. Частенько. То им нужно, се. Видать, мой участок.

- Все наши переулки - ваш участок. Чуть что, к вам на поклон.

- Да, да... Да, да...

Геннадий боком сидел к Кочергину, ведя разговор, а тут повернулся, подался к нему, так изумил его голос Кочергина, каким произнес он свои "да, да"... Будто простонал их. Словно кто руки ему стал выворачивать, склоняя к покорности, а он, хоть и больно ему, терпежа нет, упорствует, не подчиняется, стиснул зубы.

Дальше долго ехали молча. Рем Степанович теперь и от Геннадия отгородился перегородкой из стекла. Хватит, поболтал с людишками, явил им свой демократизм, а они уж и в душу полезли. Будя, прием окончен.

Машина въехала на Манежную площадь. Мелькнули между красными громадами Музея Ленина и Исторического неправдоподобные, сказочные, то ли в небо, то ли из неба, сине-золотые купола Василия Блаженного, потянулась лента Кремля, а за стеной купола, крыши, зеркало стен Дворца съездов.

- Что ни говори, сердце России, - сказал водитель.

- Да, да, да, да, - иным голосом и отодвигая свою перегородку, откликнулся Рем Степанович. - Вот, Гена, манеж этот агромадный, а ведь его за шесть месяцев построили. И когда? В

начале прошлого века. Ширина у здания сорок пять метров, а его перекрыли деревянными стропильными фермами без единой внутренней опоры. Стало быть, умели строить на Руси. Нечего нам, нынешним, бахвалиться. А какая сила в домике. Как уверенно стоит. Строили для смотра войск в присутствии Александра Первого, а сейчас в нем выставки устраивают. И тогда служил и теперь служит. И коням и людям. Снесут если, дыра в Москве образуется, как образовалась, когда снесли Храм Христа Спасителя. Вон, проезжаем по правую руку. Лужа хлорированная вместо храма.

- А кто же снес-то, начальнички и приказали, - подал голос водитель.

- Разные бывают начальнички.

- Вы бы не снесли, ваша бы когда власть?

- Нет.

- А я так скажу... - Водитель оглянулся, глянул зорко. - Извиняюсь, конечно, но я так скажу... Вполне бы могли и снести. Тогда - храм, сейчас что другое. Это потом мы все умными делаемся, вот я как думаю.

- С такой-то головой в вожди тебя.

- Потому и голова на месте, что руки на баранке. Вы уж меня извините.

Снова откинулся головой и смолк Рем Степанович, отгородившись из стекла стенкой.

А Москва мелькала, мелькала за стеклами машины. Заветные места проезжали. Древние, высокие, строгие. И столько всего повидавшие. Открывается человек перед этими кремлевскими куполами, вознесшимися в небо, хоть верующий он, хоть неверующий. Открывается, притихает, сам в себя заглядывает. Перед веками, не перед крестами, тишает душа.

Въехали на Пятницкую.

- Где тут? - оглянулся водитель.

- Дальше, дальше, - показал рукой Кочергин, все еще пребывая за своей из стекла перегородкой. Задумался тяжело. Сам у себя о чем-то допытывался? Купола, может, дознание повели?

Но вот неподалеку от Климентовского переулка Кочергин велел остановиться.

- Здесь, - сказал он. - Припаркуйся, шеф, вблизи вон того храма. Называется - церковь Климента. Возведена во второй половине восемнадцатого века. Московское барокко. Пока мы будем мирскими делами заниматься, обойди вокруг, помолись, перекрестись, если не забыл, как это делается. Грехов-то навалом?

- Без грехов только начальство. Вроде вас.

- Колкий ты мужичок, как я погляжу. - Кочергин вышел из машины, вышел и Геннадий. - Пошли, Гена, тут чуток пешочком надо пройти.

Кочергин сразу быстро пошел, сразу же свернув в узкий проход между домами, на исстари проложенную местными жителями тропу вступил. Такая же тропочка, как и у них, между Последним и Головиным. И места, если отступить от Пятницкой, похожи на их переулки. Такая же старинная, изнутри, Москва. Такие же самые и люди, все больше старушки да старички, все больше у стеночек, на скамеечках, в тень забились. И тут зной и безлюдье.

Свернув за угол, еще в один ступив переулок, Рем Степанович остановился. В тень его тоже потянуло, на скамеечку тоже сел.

- Вон, Гена, - протянул он руку. - Видишь тот дом коробкой на углу? В тридцатых годах такие уродливые коробки строили, не пощадили и эту древнюю землю. Так вот, в этой коробке, на втором этаже, в квартире номер пять, живет один толстый дядечка. Высокий, пузатый, басовитый. Позвони вежливенько, а когда откроет - он один должен быть дома, семья на даче, скажи ему, что я его на углу дожидаюсь. Батя, скажешь, вас на углу ждет. Мы с ним приятели, он меня Батей зовет, я его, за рост да бас, Шляпиным. Забавляемся, как дети. Понял? Ступай.

Говорил Рем Степанович все это весело, не спешил, а такая горячка в нем жила, что притронься, можно б было и руку обжечь. От жара этого у него даже глаза потускнели, голубизна в них выжелтилась.

- А если не откроет? Теперь двери чужим не любят открывать. Им говоришь, я от жэка, сами же вызывали, а они все спрашивают да расспрашивают, в глазок глядят-разглядывают. Есть у него в дверях глазок?

- Он откроет. Сто двадцать кило веса и кулак, как пудовая гиря. И не трус. Беги!

Вот только "беги!" и вырвалось у него, выдало его лихорадку.

Что ж, можно и побежать. Геннадий пересек мостовую, миновал палисадничек, взбежал по пологой, с широкими ступенями лестнице, сразу же уткнувшись глазами в дверь квартиры номер пять. На площадку выходило три двери. И все разные, по-разному обрядили их хозяева. Один свою в старом держал, еще в довоенном дерматинычке, другой свою хоть и приодел, но давно обнови не шил. А на двери в квартиру номер пять был такой пышный наряд, столько всяких фигурных медных гвоздей было в нее понатыкано, такие из них узоры понаделаны, что прямо сияла эта дверь, будто на бал-маскарад собралась. Да и можно было разглядеть в узорах и завитушках из медных гвоздей какого-то заносчивого великана, вроде бы в широком камзоле, в парике как будто бы. Случайно так вышло, нарочно так гвозди вколотили - трудно было понять. Вглядываться в дверь мешала какая-то помеха на ней, ненужность какая-то, веревочка, повисшая у замка, поверху заклеенная бумажной полоской с оттиснутой жирно печатью.

Знакомы были, приходилось ему видеть такие веревочки с бумажными полосками, понял Геннадий, что квартира номер пять опечатана. Вот такие вот дела.

Медленно спустился он по широким ступеням. А куда было спешить? Не хотелось, ох не хотелось с такой вестью предстать перед Ремом Степановичем. Наперед пугало его лицо, когда услышит. Дрогнет, потеряет себя. Хоть на миг, да потеряет. А Рем Степанович был тем и интересен, что был он крепколицый, уверенный в себе. К такому к нему - тянуло.

Но вот подошел, сказал негромко:

- Рем Степанович, а квартирка-то опечатана.

- Да?.. - Нет, не дрогнуло лицо, все тем же осталось. - Ну что ж, покатили дальше. - Рем Степанович поднялся, пошел, прямя плечи. Не слишком ли выпрямившись зашагал? Перед кем старается? Он и об этом подумал, чуть разжался. Но шагал все быстрее, запнулся раз-другой, так заторопился вдруг.

Снова они в машине, и мелькают за стеклами московские дома, сменяются улицы. Наглухо отгородился теперь от своих спутников Кочергин. Не только будто зримой стенкой из стекла, но еще и таким прихмуренным лицом, когда с разговором не подступишься. Только и сказал, когда стронулись:

- По Можайскому шоссе на Рублевское, до станции Раздоры. Я скажу там, куда сворачивать.
- Умер у него кто-нибудь? - пригнувшись, одними губами спросил водитель у Геннадия.

Геннадий кивнул. Пожалуй, что и умер. Обвал обрушился на Кочергина и его друзей. А что за друзья? Один в рыбном магазине чем-то заведовал, имея кличку Колобок. Повели в наручниках. Другой, неведомо какими занимавшийся делами, тоже уведен. Этого звали Шаляпиным. За рост и бас. Самого Рема Степановича величали Батей. Не столько, видимо, друзья, сколько сотоварищи по делам, по темным, ясное дело, делам. Но при чем тут актриса Аня Лунина? Если бы не она, все бы стало понятно. А что, - Кочергин тебе этот понятен? В него же можно влюбиться. Он же вон какой, даже сейчас, крепкий да смелый. А сколько всего знает. А щедрость его. Ну и что, что денег много? Иной и с мешком денег рубля тебе за работу не предложит. Тебе этот рубль не нужен, но все-таки хоть предложил бы, наломался работая, чиня ему там что-то. Нет, не дожدهшься от такого. Кочергин другой совсем человек. Таких только в кино раньше видел. Герои из американских боевиков. Про таких читать доводилось. А теперь близко с таким познакомился. Ну, в беде человек, ну, подзапутался он сам признал, - но не такой же он, как тот круглый, которого повели в наручниках, про которого и раньше было ясно-понятно, что крадет. Он и шел, наложив в штаны, выбелился, как мельник. Но он сказал Белкину: "Предупреди..." Кого? Кочергина? Одним, значит, миром мазаны? Только тот помельче, а этот покрупнее? Аня, что же, она ворюгу любит? Спекулянта? Махинатора? Не укладывалось в голове. Жулик - он и по виду жулик, у него глазки бегают, руки студенистые. Встречал, доводилось. А - этот... Не укладывалось в голове. Вчера он даже хуже показался, чем сегодня. Это из-за Ани. Да себе-то не ври, позавидовал. Голодными глазами на все глядел. А сегодня - смотри, как он держится. Сильный человек. Ему бы тренером в нашу первую сборную по футболу, он бы наладил дело. И справедливым бы был и потребовать бы смог. Его бы парни уважали б. Ну запутался, ну согрешил - сам признает. Но не так же, как тот, круглый, не поведут же его так же, как того. Невозможно было такое представить, чтобы Кочергина - в наручниках... Отобьется, выкрутится, зачтут заслуги, что работает хорошо, а он, такой, наверняка хорошо работает. Потому и мотается сейчас по Москве, чтобы отбиться. Концы ищет, понять ему надо, что к чему. Наверняка кто-то подвел, свои делишки на него свалил. Распутать надо, понять, что да как. Самому понять, глаза в глаза. Вот и ездит. Мол, выкладывай, что ты там натворил. Вот так вот, не иначе. Не могла Аня Лунина полюбить жулика, махинатора. А ведь она любит его. К ней не нужно по телефону звонить, запасшись двушками, чтобы не напороться без звонка... Он-то у нее бывает? А вдруг она замужем? Надо будет спросить. Прямо возьмет и спросит. А зачем тебе, Гена? Твоя разве забота? Она так тебе и ответит: "Не твоя забота!"

Ехали, ехали, и вот оно, Рублевское шоссе.

- От милицейского поста влево, - пробудился Рем Степанович. Да, он будто подремывал, полуприкрыв веки. Или отдыхал, собирался с силами? Что там будет, в этих Раздорах? И это не твоя забота, Гена.

Не выдержал водитель, извелся от молчания:

- Извините, дорогой товарищ, а почему поселок этот дачный Раздорами зовется? Сколько вожу сюда, а никто толком не знает. Вы вроде с историей в ладах, не расскажете?
- Судились местные крестьяне с местной помещицей из-за спорного клочка земли. Вот и -

раздоры. И крестьян тех потом раскулачили, они тут извозом занимались, богатенькие мужики были, и помещица та померла давно на чужбине, а слава, что задрались люди между собой, что чего-то не поделили, осталась. Все грыземся, кусок друг у друга рвем.

- И все за справедливость, - сказал водитель. - Никто не признается, что за кусок глотку рвет, всяк кричит - я за правду, за справедливость! Взять хотя бы у нас на базе. Тому дай, тому сунь. А на собрании, между прочим, иной из этих, из вымогателей, - мы их "поборниками" зовем - такую речугу закатит, что молись на него, да и только. Икона, а не человек.

- Да, да. От того магазинчика влево, вон по той асфальтовой полоске.

- Или взять - взойти в какой-нибудь магазин...

- И первый же переулочек по левую руку. Вон там, где сосна в небо уперлась.

- Смотришь, все у них чистенько, все у них по правилам, а по Москве слухи ходят, что ворья похватили вагон и маленькую тележку.

- Стоп! Приехали! Здесь подождешь нас, шеф. - Кочергин выпрыгнул из такси, не ожидая, когда машина окончательно станет, зашпешил, выдал свою горячку.

Их встретил тихий дачный тупичок, в котором росли, в небо устремясь, мачтовые, вековые сосны. Их тут мало осталось, пожгли их молнии, валили шквальные ветры. Когда-то они тесно стояли, оберегая лес, друг друга подпирая, как воины, вышедшие вперед. Но застроили, затеснили, смяли лес дачами, отпала нужда и в этих воинах на бывшей лесной опушке.

- Вон та дачка, Гена, вон, под красной черепицей, - указал рукой Рем Степанович. - Войдешь, собаки там нет, иди без трепета. Войдешь, вызовешь хозяина, да он тебя сам встретит, любознательный, сам всегда открывает, и скажешь ему, что я его жду. И все дела. Беги!

Дачка, на которую указал Кочергин, могла бы лишь в сладком сне присниться, если бы до сна этого Геннадий нечто подобное увидел хотя бы в кино. Дачка эта стояла посреди зеленого поля, по которому привольно разбежались цветы, на котором, цветами же, разбежались легонькие креслица и столики, а вдали, в углу, виднелся теннисный корт, а в другом углу - роща встала, слепя глаза подвенечной березовой чистотой. Ну, а сама дачка - это был двухэтажный светлого кирпича дом, новенький, приветливый, забранный, где только возможно, в дерево, коричневатое от блескучего благородного лака. Балкончики, верандочки - все без утайки, все в приветливых занавесочках. Широкие приветливые окна отворены. Там, за окнами, молодая женщина прошла в открытом платье, с загорелыми полными плечами, там слышались детские голоса.

Отлегло на душе у Геннадия, когда он входил в калитку этого милого дома. Вот сейчас все и распутается. Тут жили славные, честные люди, ничего ни от кого не таящие. К ним, к хозяину этого мирного дома, Рем Степанович и прикатил, чтобы обрести душевный покой. А вот и хозяин, зашпешивший Геннадию навстречу. Это был мужчина в годах, но еще стройный, чуть только обозначился животик. Он был в замечательных тренировочных штанах, с лампасами, как у генерала. Такие штаны лишь на наших олимпийцах можно было увидеть, на мировых рекордсменах. Жарко было, и он был без рубахи, разулся даже, босиком зашлепал навстречу. Отличнейший мужик! Еще издали заулыбался приветливо. Жаль, староват все же, лысоват, венчиком седые волосы, но все равно молодым он казался, открытость его молодила.

- Вы ко мне, юноша?

И голос славный, и глаза смеющиеся.

- Меня Рем Степанович к вам послал, - сказал Геннадий, ожидая, что хозяин этот сейчас аж подпрыгнет от радости. - Он тут, между соснами прогуливается. Просил вас выйти к нему.

Не подпрыгнул хозяин. Вздрыгнул, это так. Напрягся, это точно. Одряб вдруг, постарел вмиг лицом - чудеса, да и только. Пугливо оглянулся на окна. Плечи свел, выбежал за калитку, будто подстегнули его. И побежал, вертя шеей, высматривая в соснах Кочергина, накалываясь, смешно вздергивая босые ноги.

Геннадий побрел следом за этим все более похожим на кенгуру мужчиной. Кенгуру с лампасами.

Стволы перегородили тупичок, превратив его в лабиринт. За любым из этих великанов можно было затаиться, каждый ствол был шире человека. И вздымался в небо. Надо было запрокинуть голову, чтобы углядеть вершины. Так, запрокинувшись, и переходил от ствола к стволу Геннадий, потеряв из виду кенгуру в лампасах, не зная, отыскал ли он Кочергина. И вдруг близко, отчетливо услышал их голоса. Сперва не узнал, кочергинский голос не узнал. Сверлящий какой-то. Он говорил:

- Что происходит, Лорд? Берут одного за другим. Бьют, как по пристреленным мишеням. Хуже, идут по схеме. По нашей схеме. Кто их может вести? Шорохов?

Получилось, Геннадий подслушивает чужой разговор. Но он не отошел, продолжал слушать. Ему важно было понять.

- Павла Шорохова нет в живых, - ответил человек, который был вовсе не кенгуру в штанах с лампасами, а был он - Лордом, вон кем. - Он умер после удара ножом, не прожив и часа... Он не мог...

- А вот Колобок, когда его брали, шепнул моему человеку, что Шорохов жив, что это его работа.

Колобок... Шаляпин... Вот теперь еще Лорд... А стальной этот, будто сверло по стали, голос принадлежал вовсе не Рему Степановичу Кочергину, а Бате. Кенгуру, он же Лорд, так и назвал его, панически вызвнив свой шепот:

- Батя, этого не может быть! Я получил точные сведения! Из больницы! В тот же день!

- Не помню, чтобы Колобок когда-нибудь ошибался.

- В тот же день! От надежнейшего человека!

- Шорохову успел что-то шепнуть Петр Григорьевич Котов, этот Петр Великий наш. Перед самой смертью успел. Это было установлено. Шорохов пошел по цепочке. Он знал. Только он.

- Но его нет в живых!

- А Колобка повели в наручниках. Подвел тебя твой надежнейший человек. Всех подвел!

- Тут что-то другое, Батя, тут что-то другое. Не мог же Павел Шорохов, потеряв сознание уже по пути в больницу, не мог же он...

- Да, не мог, если умер. А если жив?.. Не странно ли, что никто не знает, когда и где его похоронили? Вот что, Лорд, передай всем, чтобы топили сети. И врассыпную! Кто куда! На курорты, к старичкам-родителям, в лес, в горы, в пустыню. Нет дел! Конец делам! Отдыхаем!

- Но если они пошли, они пройдут весь путь, Батя.

- Думаешь? - Вернулся к Кочергину его голос, ушел сверлящий звук. - Я тоже так думаю... Что ж, тогда... Ты в наручниках себя представляешь, Семен?.. Я, сказать по правде, себя не представляю...

- Нас не посмеют тронуть, Рем Семенович. Вернее, так далеко не зайдет.

- Думаешь?

- Надеюсь.

- На бога надейся, а сам... Топи сети, Лорд.

- Слушаюсь. Ну, разбежались?

- Разбежались. Щеки разотри. Дома не узнают.

Геннадий отскочил от ствола, зашел за другой, за третий, пошел вдоль заросшего забора к просвету из тупика. Там, за углом, должна была стоять их машина.

13

Вот и пришла ясность, вот ты и понял все. Что - все? Только темнее стало на душе, смутнее. Это как перед грозой, вдруг почернеет небо. Миг назад еще были в нем просветы, еще жила надежда, что стороной пойдет ливень, но нет, все вычернилось, и рванул с неба град, не дождь, а ледяные эти шарики, в кровь секущие лицо. Ну, понял он, сразу стало ясно, что у Кочергина какие-то неприятности, тот и сам этого не скрывал, а они вон какие. Это не неприятности. Повели одного, повели другого. К нему самому подбираются. И к Лорду этому - тоже. Вот так лорд! Вот так домик с теннисным кортом и лужайкой, как в английских поместьях. Это все, значит, наворованное? Град сек лицо, потому что под градом этим оказалась и Аня Лунина. Как далеко она-то зашла? Это ее лицо сек сейчас град, а Геннадий исстрадался, мучаясь за нее. Что надо было делать? Ему?! Как поступить?! Сейчас?! Не медля ни минуты?!

Уселись в машину, покатали назад в Москву.

- Опять кто-то помер? - шепотом, пригнувшись, спросил водитель у Геннадия. Тот только неопределенно повел плечами.

- Куда теперь? - громко спросил водитель.

- Гони, шеф, в Последний переулок, в последнее мое прибежище! - с напором, будто повеселев, отозвался Кочергин.

Умеет он красиво говорить, не отнять. И держится на заглядение. Геннадий повел на него глаза, перехватил ответную улыбку. Ну, не шибко широкую, радостную, но - улыбку все ж таки, хотя улыбаться было нечему. Азарт даже какой-то зажил сейчас в этом в румянец укрывшемся крепком лице. Будто хватил там, у сосен, стаканчик. Зарядился энергией. Этот еще подерется, его не свалили. Он только вот Шорохова какого-то страшится. Все знать ему надо, жив ли, умер ли. Спросить бы напрямик, а кто такой этот Шорохов? Не ответит. А ответит, так всю правду не скажет. Что-то, про главное про что-то, соврет. Умеет правдиво врать, это теперь ясно. Много умеет. Все равно что стал бы защищать ворота Геннадий против покойного Харламова, против Мальцева, а то и против их обоих. Обвели бы в два счета. И шайба в воротах, и защитник валяется у бортика. И все по правилам. А пацанье с

трибун хохочет. На кого полез, переулочник?!

Но кто его ударил - этого Шорохова? Ножом в бок - кто? Что это еще за дела такие? Разве в Москве убивают кого-нибудь, если только не по пьянке и редко-редко когда - чтобы ограбить? А тут не по пьянке ножом в бок сунули и не для ограбления. Что за дела?! Кто ударил?! Убил, не убил? Колобок говорит, что жив, Лорд говорит, что умер. А нужно им, Кочергину нужно, чтобы Шорохова уже не было в живых. Вот что за дела! Тогда кто же его убил, если убил, или кто ранил хотя бы, ткнув ножом? Вот так дела!

- Что приуныл, Гена? - окликнул его Рем Степанович. - Мое настроение передалось? Ничего, мы сейчас наши тучки развеем. Эх, дотянуть бы до понедельника, промчатъ бы время!

- А что в понедельник будет? - обернулся Геннадий, снова дивясь этому человеку, зажегшемуся азартному огоньку в его еще молодых, голубых в синеву глазах.

- А в понедельник покачу я на работу.

- "Волга" небось у вас блестит? - подал голос водитель.

- Небось. Взойду на свой этаж, пойду к своему кабинету, здороваясь со встречным народом, и все сразу пойму.

- Вы про что, Рем Степанович? - не понял Геннадий.

- А вот про взгляды про эти мимолетные, про кивки и кивочки, исходящие от коллег. В порядке ты, нет ли - сразу ясно становится, еще когда вахтер тебе у входа так или сяк головкой поприветствовал. Учти, вокруг все всё раньше тебя знают. Недаром говорят, что рогоносец узнает об измене своей жены последним.

- Гляжу, дорогой товарищ, ба-а-альшущие у вас неприятности, - сказал водитель и сочувственно покивал затылком, не смея отвести глаз от дороги, где шли встречные самосвалы.

- Так я и не скрываю.

- Чего скрывать? Смелее так, как вы.

- Смелее? Умен ты, шеф. Бит, видать, жизнью-то.

- Не без этого. Вот молодой человек у нас еще не битый, у него еще все впереди.

- И он битый, в хоккее играл.

- Это не то битье. Клюшкой по ногам - это пустяки.

- Вчера сунулся к одной дамочке без звонка, а у нее мужик какой-то, сказал Геннадий, изумляясь, не умея понять, зачем он про это сказал.

- Это уже нечто! - похвалил водитель. - Не горюй, считай, что тебе повезло. Но это уже нечто.

- Душевный, душевный порыв, - сказал Рем Степанович и положил сухую, горячую руку Геннадию на плечо. - Пожалел меня, так? Мол, и у меня неприятности, не только у вас? Спасибо, дружок.

- Вы - понятливый! - Зло взяло Геннадия, на самого себя зло. Водил его, как на поводке, этот Рем Степанович, даже хуже, гипнотизировал. Ну зачем сболтнул? К кому прилаживаешься?

- Не злись, Гена. Душевный порыв - всегда красит человека. Вот я стал беден такими

порывами. Обнищал на них. А им цены нет. Поверь.

- А вот что начальство бывает умным, так это на вашем примере убеждаюсь, - сказал водитель и уважительно покивал затылком. - Вам шофер на персоналку случайно не нужен? Пошел бы к вам. Стаж. Имею первый класс. Ни одного прокола.

- Ни одного, говоришь? - Кочергин похмыкал, как бы рассмеялся коротко. - Вот бы и случился у тебя первый прокол, если б пошел сейчас ко мне на работу. А так, что же, могу взять. Но...

- Ясно. Не та полоса.

- Именно! Полосатая она - жизнь... Помолчим, братцы, с закрытыми глазами хочу посидеть. - И откинулся, отгородился от своих спутников, прикрыл глаза Кочергин. Что там - за зрачками?

Приехали когда, Рем Степанович велел остановить машину там же, у их школы. Расплачиваясь, дал шоферу сверх счетчика коричневатую, хрусткую сотенную. Тот взял, не удивился. Не стал благодарить. Лишь глянул на Кочергина зорко и сочувственно, как взглядывают бывалые люди в лицо больного, очень больного человека.

14

Крепко взяв Геннадия за локоть, повел Кочергин его к своему дому. Прошли и по переулку так, пока не свернули к тополю. Переулок их был безлюден, хотя простреливался, должно быть, глазами, хотя и показалось Геннадию, что кто-то вон там мелькнул, входя в подъезд, а кто-то выглянул из подъезда. Вроде бы Клавдия Дмитриевна со своим Пьером промелькнула. Вроде бы и его знакомый старший лейтенант на пороге отделения милиции стоял, но тотчас же исчез. Нет, тут Геннадий обознался. Старший тот лейтенант вчера отдежурил, а сейчас где-нибудь, сняв кителек, рыбку удит. Завзятый рыболов.

Подошли к дому. Кочергин так и не разжал своих пальцев, одной рукой дверь стал отмыкать. Не спрашивая согласия, ввел, как втокнул, Геннадия в сени-прихожую. И только тут отпустил, завозясь с замками.

Вошли в кухню. Сразу шагнул Рем Степанович к бару, к сказке этой заморской, к заискрившимся бутылкам и сосудам. Вдруг музыка негромкая зазвучала - это Рем Степанович на какую-то кнопку нажал. И свет засеребрился под потолком. А экран матовый, загораживающий окно, пейзаж этот унылый переулочный, засветился уютным, теплым, коричневатым светом, под стать струящейся музычке.

- Выпьем! Тебе что налить? - Себе он налил в бокал почти доверху из бутылки с белой лошадьё, мирно пасущейся на зеленом лужке. И сразу стал пить. Тянул, тянул, до дна дотянул. - Так что тебе? Водочки?

- Вы бы закусили, - сказал Геннадий, просто съезжившись от этих длинных глотков, от этого неразбавленного виски, которое сейчас забушевало пламенем в Кочергине.

- Не страшись за меня, Гена. Не запьянею. Рад бы, да не возьмет. На, глотни водяры. Разожмись, чего ты? Вот сыр. Заешь. Ну, повторим?

Кочергин не собирался спаивать Геннадия, он налил ему небольшую рюмку. А вот себя, пожалуй, он хотел упоить. Себе он снова налил бокал доверху. И выпил его, снова не закусив.

- Заели б чем-нибудь? - помолил Геннадий. - Больно на вас смотреть.
- Да не берет меня это пойло! Я из тех, Гена, корни мои, деды-прадеды мои такие, каких свалить нелегко! Но ничего, мы что-нибудь придумаем! Хвост веревочкой! Дожить бы до понедельника! Доживем, как думаешь?
- Доживем! - сказал Геннадий, располагаясь опять к этому человеку, забывчиво забыв тот разговор в тупике среди сосен, гипнотизировал его этот Кочергин, избыточно был одарен он великим даром божьим - обаянием.
- Понедельник... понедельник... А проскочим через него, так и дальше поплывем. Поплывем, а?!
- Поплывем!
- Главное, чтобы проскочить, чтобы пристрелка эта на тебя не легла. Что такое?! Почему они так лихо взялись?! Кто их за руку водит?!
- Шорохов, наверное, - тихо сказал Геннадий.
- Что? Ты-то откуда про него знаешь?! А, ну понял, Митрич велел сказать. Да, брат, этот Павел Шорохов грозит, грозит мне пальцем.
- А он жив?
- Похоже, что так.
- А кто он?
- Был директором большого московского гастронома. Потом - сел, потом вышел, отработав где-то в пустыне года два змееловом. Змеелов! Директор гастронома, торгош, махинатор - и, нате вам, змеелов. Слыхал про такое?
- Нет.
- Ну вернулся. Ну приняли его, стали помогать. А он возьми да и начни свои змееловские навыки показывать. Здесь, у нас. Короче, мстить надумал. Свой по своим - хуже нет.
- Вам важно, чтобы он был мертв?
- Глупости говоришь! Мне важна ясность. Мне надо понять, кто в мою спину нацелился. Как ты оборонишься, когда не знаешь, кто твой противник? Силен ли? Поверь, эти торгоши, которых увели, ко мне лишь косвенное касательство имели. Ну, помогал им кое в чем. Всего лишь. Верить?! Я - им, они - мне. Для уюта жизни. Верить?!
- Верю, - сказал Геннадий, а в глазах его встали сосны, вспомнилось, как стоял, задрал голову, высматривая их вершины, вспомнились голоса, его, Кочергина голос.
- Это всё мелкота для меня. Ну, выговор! Ну, понизят! Переживем! Но нужна ясность, ясность! Вот что... Попрошу-ка я тебя еще об одном одолжении. Пошли. - Кочергин выскочил из-за стойки, зашпешил в свой кабинет, снова мимоходом крепко прихватив пальцами Геннадия за локоть. Проскочили гостиную, где такой жил мир да покой, где бы хорошо было остановиться, усестся в креслице перед громадным экраном цветного телевизора, включить его и, попивая хоть виски, хоть водку, заняться уютным делом слежения за чужой жизнью, там, на экране, пусть даже и трагедии какой, с убийствами, с изменами, с автомобильными катастрофами - страшно, очень! - а все равно уютное это было б занятие, чужая б там мелькала жизнь, чужие раздавливались судьбы. Нет, проскочили мимо экрана сказочного, было Кочергину не до

сказок.

Вошли к нему в кабинет. Тут Рем Степанович отпустил Геннадия, подсев к столу, торопливо что-то начал писать. Снова записочка? Такая же, как та, которая все еще лежит в кармане? Геннадий не вспомнил про нее, не выбросил за ненадобностью. Пойдет домой, выбросит в урну.

Кочергин продолжал писать, а Геннадий от нечего делать пошел вдоль стен, стал разглядывать картины, которых тут было порядком. Не только книги "Про Москву" собирал Рем Степанович, но вот и картины все у него были о Москве. Узнавались иные места. То глобус на доме подскажет, что это угол Калининского проспекта, хотя дома на картине в тумане, улица, проспект этот, в ночную синеву укрыт, лишь огоньки мерцают. Но - узнал, точно, проспект Калинина. А это вот купола Василия Блаженного. Их вроде смыло в сторону, они вроде плывут в воздухе, но узнать можно. А это вот, а не их ли это Сретенка, в зачине своем, где стоит на углу церковь Святой Троицы в листах? Она сейчас не в листах, а в леса одета, ее реставрируют. Геннадий заглядывал туда, к реставраторам, смотрел, как работают. "Терпение и еще раз терпение", сказал ему один бородатый, хоть и молодой, парень-реставратор. Геннадий им там проводку вел, времянку, чтобы под кровлей посветлее было. Спешил, как всегда. А этот, с бородой, наставлял смешным басом, что во всяком деле, и в их особенно, терпение необходимо, что одно лишь оно, терпение, ведет к победе в труде. Все там, кто работал, включая и женщин, молодых, показались Геннадию странными. Тихие какие-то, молчаливые, будто пришли в церковь не работать, а молиться. Может, они впрямь были верующими? Эта догадка пришла сейчас, когда рассматривал картину. Опять на ней было все не так, как в жизни, но угадывалась эта жизнь и что-то еще угадывалось, прибавлялось к пониманию про эти места. А у них тут, оказывается, красиво. И тревожно как-то. Небо вот в темных тучах. И древние эти стены, сложенные из маленьких розовых кирпичей, они столько знают, такого нагляделись. Церковь эта стояла на углу Сухаревки, когда тут людские толпы бушевали. Торг шел. Обман царил. А стены эти все видели, все слышали. И хотя художник - его фамилию Геннадий не разобрал в углу картины - не показал толпы, он картину про сегодняшний день сделал, эта толпа, жадных и бедных, почудилась у стен церкви. Сегодня, вот сейчас, разглядел Геннадий такое, чего бы вчера еще никак не сумел углядеть. Не умел он рассматривать картины, читать их затаенный смысл. Откуда? Он и в музеях-то побывал за всю жизнь раза три. Вот к Васнецову разок заскочил - это потому, что рядом. Один раз тетка сводила на выставку художника Рериха. Горы, снежные вершины, Гималаи, словом. Этот Николай Рерих был главным ее художником, так она говорила. Самым любимым. Геннадий больше не на картины тогда смотрел, а на тетку свою. Лицо у нее сделалось незнакомым, побледнела даже, а губы что-то шепчут, шепчут. Он тогда ее не понял. Сейчас, вот здесь, догадался. Она молилась там на эти снежные вершины, на поднебесья эти, про свою жизнь им рассказывала. И уж эти-то горы и выси - они наверняка ей отвечали, утешая: "терпение, терпение". Он подумал про Аню Лунину. Он понял, что полюбил ее. Он понял, что она его в ответ не полюбит. Никогда. Он понял, что всегда все равно будет любить ее. На всю жизнь теперь. "Терпение, терпение..." На всю жизнь теперь. Он понял, что должен спасти ее. Не для себя - он понял, - а для нее, ее - для нее. Он должен увести ее отсюда. Взять за локоть, а силенок у него побольше, чем у этого Кочергина, сжать, стиснуть ее локоть и увести.

Кочергин окликнул его, поднявшись из-за стола. Записку, которую писал, он принялся рвать на мелкие клочья.

- Гена, я раздумал. Письма не будет. Скажешь на словах. - Кочергин снова было схватил Геннадия за локоть, но тот не дался, отвел руки. Кочергин заметил эти отведенные, напрягшиеся руки, заглянул в напрягшееся лицо. - Да ты не бойся. Поручение пустяковое. Скатаешь на ВДНХ, такси за мой счет, найдешь там магазин-павильон "Консервы", а в нем знакомого твоего Олега Белкина, он стаканы перемывает, и скажешь ему, отозвав в сторонку... Пойдем, провожу тебя.

Снова прошли через гостиную, через мир, тишину и уют, миновали кухню, где журчала тихая музыка, где мерцал экран, вместо дневного в лоб света даря коричневатый покой. Вышли в захлапленные сени. Тут и сказал Кочергин, что должен будет Геннадий передать Белкину:

- Скажешь, Батя велел костыми лечь, а узнать, жив ли Шорохов или нет. Костыми! Вот и все. Он у нас проныра. Обещал озолотить, добавишь. - Рем Степанович подвел Геннадия к двери.
- Слтай, сделай милость. А вернешься, дым коромыслом! Анюта обещала подскочить к часу дня. Обед закатим. Вызову повара-профессионала, есть у меня такой друг. Ах, гульнем! Беги!

На крыльцо провожать Геннадия Кочергин не вышел, "беги!" сказал, затворяя дверь.

Отказаться? Послать его с этим поручением, которое шло оттуда, из тупика в Раздорах? Но он сказал: "Анюта обещала подскочить к часу дня..." Геннадий побежал.

15

Вот и магазин "Консервы". Народу около него - не протолкнуться. Суббота. Зной. Июль. Все пить хотят, а там, внутри, продают соки. Ребятишек с мамами и папами полно. Век целый не бывал Геннадий на выставке. А тут интересно, много нового понастроили. Надо будет спокойно как-нибудь побродить по сим местам, лучше в будний денек. Пригласить Аню Лунину и побродить. Без Ани Луниной почему-то его сюда не потянуло во второй раз. Без Ани Луниной его бы и к Кочергину назад не затащить никакой силой. Ради Ани Луниной он примчался сюда, чтобы шепнуть приказ странному этому человечку с бегающими глазками, с семящей пробежкой. Вспомнилась записка, которую собирался выбросить за ненужностью. Пока доставал из кармана, она прилипла к пальцам. Что ж, если она никому не нужна, можно и прочесть, что там в ней. Отлепил, разгладил, прочитал: "Топи сети". И всё. Без подписи. Всё. Это, стало быть, и Митричу, Колобку тому, Рем Степанович приказывал свертывать дела, браконьерский этот подавая сигнал, чтобы топил сети, поскольку патрульный катер приближается. Не успел с предупреждением, наскочил патруль, повели Колобка. В наручниках. Дело серьезное. Геннадий смял записку, швырнул в урну, протолкавшись через толпу, вошел в павильон. И сразу, глаза в глаза, встретился взглядом с Белкиным. Он был в бабьем переднике, пестреньком, в цветочках, он действительно был при стаканах, возле кругляша-фонтанчика, бывшего струями в разные стороны, брызгали струи и в очередь. Но не часто, Белкин умело ловил их в стаканы. Навострился.

Встретились взглядами, замер Белкин, опустил стакан, кинулись струйки в разные стороны.

- Олег! Не спи на работе! - прикрикнула на него полная буфетчица в белом халате.

- Мари, я на минуточку! Меня вызывают! - Белкин прикрутил фонтанчик, побежал, засеменял, пугливо не отрывая глаз от Геннадия, слепо натываясь на людей в очереди.

- Не работа, а одни вызовы! - недовольно проводила его полная Мари. Девчонка работала - все бегала, теперь вот из министерства перевели - и этот все бегаёт.

Выскочив из павильона, не оглядываясь на Геннадия, Белкин припустил, семеня, пробежкой своей, выискивая вертящейся головой укромный уголок. Нашел старую яблоню, уперся спиной о ствол, встал, но головой продолжал крутить, будто держал круговую оборону.

Геннадий подошел к нему, сказал громко:

- Батя велел костыми лечь, а узнать, жив ли Шорохов или нет.

- Тихо ты! - обмер Белкин.
- Обещал озолотить! - все так же громко присовокупил Геннадий.
- Да тихо ты!
- Не умирай. Что ты все время умираешь? Приказ принят?
- Приказ... Все-то ему приказывать. А исполнителей за шкуру. Подойди, будто мы закуриваем. Так о чем он? И не ори, говорю!
- А сам кричишь. Я не курю. - Геннадий подошел, поглядел, как, закуривая, ломает Белкин спички - не слушались пальцы. - Ну и герои вы все. Один Рем Степанович только и держится.
- Волевой, это точно. А ты кого еще видел? Кто это - все? - Задымилась у него сигарета, разжалось чуть лицо.
- Заезжали тут к одному. Лорд.
- О-о-о! - устранился Белкин. - И Рем тебя с собой потянул? Вот это доверие! И что же - Лорд?
- Перетрусил, по-моему.
- Ты и в доме у него был? При разговоре присутствовал?
- Я его вызвал. А уж потом они в сторонке разговаривали.
- А, понял! Он тебя вперед выпускает. Толково. Так что же, - этот Лорд, перетрусил, говоришь?
- Сперва был лордом, а потом запрыгал, как кенгуру, побелел весь. Смешно, ты - семенишь, этот - прыгает. Губы у вас трясутся, руки трясутся. Смешно!
- Не гордись, парень. Связался с Ремом, глядишь, и у тебя все затрясется.
- А кто он?
- Кочергин? Рем Степанович? Ха! Работаешь на него, а не знаешь, кто! Ну, раз он не сказал, и я не скажу.
- А этот Шорохов, змеелов этот, действительно так опасен?
- Что ты про него знаешь? - насторожился Белкин. - Что ты все вопросы задаешь?
- Рем Степанович рассказал кое-что. Знаю, что был директором гастронома, что потом сел, что работал потом змееловом, что вернулся, стал счета сводить, а его - ножичком. Так рассказываю?
- Ох, Рем Степанович, ох, Батя наш! Первому встречному все выкладывает. Зачем? Не понял, зачем он с тобой так разоткровенничался?
- Обычный разговор.
- Обычный, куда обычнее. Стало быть, озолотить обещает?
- Велел сказать, что озолотит.
- Так, так... Знаешь, а ведь он мудер у нас, мудер. Между прочим, этот Павел Шорохов вот

тут, на этом самом месте, со мной совсем недавно разговаривал. Тоже вопросы задавал. Слушай, да вы с ним просто один к одному как похожи. Тебе - сколько?

- Двадцать шесть.

- Вот, прибавить тебе лет пятнадцать - вылитый Шорохов. Рослый. Костлявый. Силенка чувствуется. Ты бы, скажи, если б приперло, в змееловы бы пошел?

- Когда припрет, тогда и поговорим.

- За этим дело не станет. Влипаешь, гляжу. Нет, а я бы не пошел. С детства отвращение у меня ко всяким ползающим тварям. Еще к крысам. К тараканам. Брезглив!

- Ну, я ухожу. Что передать?

- Скажи, что попробую, попытаюсь, хотя... Слушай, а ты бы не согласился мне помочь? Как Рему Степановичу? Это идея не глупая, посылать вперед паренька, которого никто не знает, который ни в чем не замешан. Если что, знать ничего не знаю. Не глупо! А вознаграждение поделим.

- Так я и так уж влипаю, сам сказал.

- Да нет, это я к слову. Что с тебя взять? Посыльный. Вот прибежал, кинул фразочку и - назад. Не задавай только вопросы, любознательность вредна, поверь. Ты у него посыльный или еще и телохранитель? Как подрядились? Сколько отваливает?

- А любознательность вредна.

- Усвоил! Так пойдешь ко мне в помощники в этом деле? Побегает, повстречаемся кое с кем. Может, и мне кого надо будет вызвать. А приз поделим. Решено?

- Не влипну?

- Если кто влипнет, так это я. Соглашайся, правда, великолепная идея! Рем Степанович - он у нас не дурак, это уж точно. А если он тебе начинает доверять, то...

- Я подумаю.

- Чего думать, ну чего думать?! - Белкин загорелся. - Для тебя никакого риска! Для тебя - ни малейшего!

- А кто его все-таки ткнул ножом? Кто-то из ваших?

- Что?.. - Замерло лицо у Белкина с приоткрытым ртом, как у застигнутого врасплох, даже сигарета выпала. Он нагнулся, поднял сигарету, обтер, а потом отбросил. - Про каких это ты "ваших" толкуешь? "Нашим" как раз это и неизвестно. Сам бы дорого дал, чтобы узнать. Тут одно на другое налезло. Из-за бабы у Шорохова конфликт вышел. Его упекли, а баба, жена его, за другого выскочила. Смириться бы, а он... Учти, все из-за баб. Французы говорят - шерше ля фам. Впрочем, тебе неважно, что там французы говорят, ты послушай меня, Олега Белкина. Все из-за баб! Ты еще молодой, еще тебя не коснулось. А вообще-то - все из-за них, из-за бабенок этих распрекрасных. Как так получается, что все беды от них? А вот получается. И еще... Вот когда много вопросов задаешь, тогда тоже в беду можно угодить. Меньше знаешь, лучше засыпаешь. - Снова Белкин, пытаюсь закурить, извелся со спичками, ломая одну за другой, не слушались пальцы. - Что за спички?! Уж и на спичках стали экономить! Тоньше волоса!

- А пальцы трясутся тоже из-за баб?

- Конечно! Вот тут ты угадал! - Белкин осклабился, даже подмигнул повеселевшим глазом. - Ночку провел, поверишь, как в молодые годы! Ты, если взять на круг, сколько за ночь поспеваешь?

- Ты о чем?

- А, сосунок! Еще в той поре, когда счет не ведут! Ну, вступишь в долю?

- Пожалуй. А что делать?

- Завтра начнем, сегодня я при стаканах. Утречком встретимся - и побежим по разным адресочкам. Того спросим, туда заглянем - и вся работа. Где намечаем встречу?

- Где тебе удобнее.

- Мне, друг, нигде не удобно. Мне бы рвануть отсюда - и бежать, бежать, бежать... - Белкин поник, вжался в себя. - За чужие грехи расплачиваюсь, вот что обидно. Где? Придумывай сам. Тебе сейчас, как в картах новичку, должно переть. Замечено, что и на бегах новичкам прет. Изобретай. Приказывай. За тобой вот хвоста не видно, а я все оглядываюсь, все время у меня в заду свербит.

- Когда - утречком? - спросил Геннадий.

- Назначай. И место и время. Твоя ставка, называй заезды, новичок, не глядя на лошадей. Привезут!

- Тогда часов в одиннадцать.

- Есть!

- На углу нашего переулочка и Сретенки. Там кафе небольшое. Оно с одиннадцати открывается.

- Мудро! Сошлись, мол, хватить с уторка коньячку. Во, уже по-умному. Пьяницы, солнцепоклонники - обычное дело. В воскресенье нигде нет, а в кафе подадут. Есть! Заметано!

- Разбежались? - спросил Геннадий и вспомнил снова тупик, сосны, вспомнил, как побрел вдоль забора, обретая ясность, которую все обретал да обретал, все более входя в туман, в муть какую-то, в страх этот, от которого трясло и Рема Степановича, и того барина по кличке Лорд, и этого Белкина. Среди своих как тебя зовут? - спросил, не удержался.

- Разбежались. Что? Беги, беги! Я тебе не свой.

И они действительно разбежались. Геннадий потому побежал, что глянул на часы, и стрелки, шагнувшие за полдень, напомнили: "Анюта обещала подскочить к часу дня..." Белкин потому побежал - пробежкой, пробежкой, - что иначе уже и передвигаться не мог. Гнал его страх.

На метро быстрее можно было вернуться, а времени было в обрез, и Геннадий помчался домой на метро. А потом просто стометровку устроил по Сретенке, мимо этой церкви Святой Троицы в листах, которая сейчас была в лесах. Совсем не так она выглядела, как на картине,

но все же и так. Теперь он всегда будет сравнивать то, что перед глазами, и то, что там, на картине углядел. Оглянулся, пробежав. Нет ни Сухаревской башни вдаль, а все же что-то да померещилось, нет толпы у стен церкви, но идет, идет народ, набегают, как и тогда. И это вот обширная подкова старой больницы по ту сторону Садового, она и на картине проступала вдаль. А вот чего не было вокруг и что было на картине - не было сейчас кругом никакой тревоги. Солнечный день светился, субботний, люди примедлили шаг, отдыхали. На картине же был вечер, тревожное низкое небо нависло. И жили в небе три купола. А сейчас у церкви куполов не было. На картине получалось больше по правде, чем в жизни. Кому тут как, а его жгла тревога, подгоняла тревога. Он жил не здесь, среди ясного дня и когда вместо куполов зеленела обычная крыша, а там, в картине, где все было тревогой, где тревожно вздымались купола и кресты.

Вбежал в свой переулок, когда на часах стрелки показали, что до Аниного прихода осталось всего пять минут. Вбежал, сразу же, чуть не лоб в лоб, столкнувшись с маленькой Зиной, той, что вчера была дружинницей и щеголяла с красной повязкой на рукаве и в новеньких "бананах" на вырост. Сейчас она была в широкой юбке, туго перехваченная широким ремнем, тоненькая и легкая. Она торопливо куда-то шла, широко шагая, ветер надувал белую кофточку, растрепал ей русые волосы, громадные очки от солнца делали ее загадочной. И вот они столкнулись, он чуть не сшиб ее.

- О, Зинаида! - Он хотел дальше припустить, но она ухватила его за руку.

- Пожар где-нибудь? Крыша протекла?

- Нет, я просто так бегу.

- Если просто так, тогда я хочу тебя спросить... - Она помолчала, разглядывая его. - Вчера ты какой-то был другой. Не пойму, что-то изменилось. Потому, что пуговицы застегнуты? Не пьяный? Нет, не в этом дело.

Геннадий глянул на часы. Три минуты оставалось до часу.

- Ты спешишь?

- Нет.

- Вчера ты был злой и несчастный. Это углубляет. А сейчас ты какой-то напуганный. Что случилось? Куда твои длинные ноги тебя несут?

- Тут, в домик один. Халтурка подвернулась. - Он поглядел на часы, стрелки прошли еще одну минуту.

- Честно говоря, я тут расхаживаю, чтобы вдруг да встретить тебя. Вот встретила.

- Зачем?

- Как?.. Этот поцелуй разве ничего для тебя не значит!

- Какой поцелуй?

- Ну, когда провожал меня. Возле моего дома. Господи, вчера он показался мне человеком!

- Прости, конечно, значит. Но я думал, что у тебя кто-то есть. У вас у всех кто-то всегда есть.

- Ты говоришь не подумавши. Если бы был, я не позволила бы тебе меня целовать. Ты просто извергнулся в человечестве. Из-за той Зины?

Большая стрелка стояла на двенадцати, маленькая на единице.

- Ты спешишь? Иди. Вот у тебя действительно кто-то есть. И это не та Зина, ту ты не любил. Ты сразу все рассказал про ее измену. Ты освободился от нелюбви. А сейчас...

А сейчас в их переулок въехало такси, и рядом с шофером в машине сидела Аня Лунина. Она увидела Геннадия, приятельски махнула ему рукой, о чем-то спросила, кивнув в сторону дома Кочергина. Машина проехала.

- Это какой-то нонсенс, что я тут целый час расхаживала, тебя дожидаясь. - Зина сдернула очки, чтобы получше разглядеть женщину, которая там, вдали - выходила из машины. - Она? Да, она прекрасна! - Зина попыталась себя оглядеть, критически, от кончиков туфель до плеч, до вскинутых рук. Где мне... Разумеется... Я даже и ходить так не умею...

Та женщина там, вдали, в легком, туникой, платье, легким, привольным шагом уходила от машины, пересекая этот серенький переулок, сразу будто заживший иной, расцвеченной жизнью, сразу все свои выложив козыри: появилась откуда-то загадочная старушка с попугаем на плече, появился откуда-то коренастый человек, ведя на цепочке зеленую хвостатую обезьяну. Вон он какой - этот переулок, по которому идет сейчас, ступает эта прекрасная медноволосая римлянка. Он не серенький вовсе, он под стать ей. И не один старший лейтенант, а целых три старших лейтенанта и один капитан дружно вышагнули из дверей районного отделения милиции - хоть парад принимай.

- Иди! Иди же! - Зина пошла от него, так же шагнув, так же привольно и так же отмахнув рукой, как та женщина, почти так же. Но вдруг споткнулась, сорвалась и побежала.

И Геннадий побежал. Разбежались в разные стороны.

Он настиг Анну Лунину у дверей, она еще только руку подняла, чтобы позвонить. И оглядывалась, ожидая его, уверена была, что он кинется следом.

- Что за девушка? - спросила. - Очень, очень миленькая. Посоветуй ей не носить таких громадных очков. Они уменьшают ее личико. (Все разглядела!) Рем Степанович дома? Ты к нам?

Отворилась дверь, на пороге, не переступая его, стоял Кочергин. Он просиял, увидев Аню, он помрачнел, все вспомнив, увидев Геннадия, он переборол в себе тревогу, отодвинул в сторонку хмурь, лицо его покорило радости.

- Молодость в гости к нам! Прошу, ребяташки! Аня... Аня... - Он взял ее за руку, повел, только на нее и глядя. А Геннадий побрел следом, как на поводочке идя вслед за хозяевами, которые просто забыли о нем, только что помнили, но вот - забыли. Если не твякнет, не напомнит, то и ошейник не снимут.

Вошли в сени, защелкал Рем Степанович замками, а Аня, пока он был занят, все-таки вспомнила про Геннадия, улыбнулась ему - молодая молодому, сняла ошейник, сказав:

- Гена, а я тебе рада.

- Правда, славный парень? - спросил Рем Степанович, распахивая дверь. По-моему, мы подружились. Правда, Гена? Прошу!

Они вошли в кухню, в мир этот блестящий, где все было так приспособлено для радости, для веселого обжорства, для роздыха, выпивки накоротке с друзьями. Журчала тихая музыка, тепло мерцал экран, отгораживающий окно от переулка, светился высоко в углу экран телевизора. В белом кухонном кресле, закинувшись вольготно, - но ноги все-таки на стол не положил, не в США все-таки, хоть и кухня, как у миллионера, - сидел некий лысый мужчина,

некий человек, призванный Ремом Степановичем для обещанного "дыма коромыслом". Мужчина вскочил, зорко воззрился бедовыми глазками на Аню, узнал, изумился, восхитился, влюбился, покорился и рабски припал смеющимся ртом к ручке.

- Так это же... Это же... Ну, Рем Степанович, для Анны Луниной... Откуда? Как посмел? Как удалось? Ну, повелительница, я украду сегодня ваше сердце с помощью своего обеда!

- Знакомьтесь, друзья. Карикатурист-профессионал, но и повар-профессионал. Утверждает, божится, что был поваром первой руки аж в самом "Метрополе".

- И в годы его расцвета! Когда мясо было парным, баранина вчера еще мэкала, а поросята хрюкали за минуту до духовки. Платон Платонович, и к тому же Платонов. А все-таки не верю своим глазам. Она! Смею лицезреть! Ручку протянула! Не верю! Мистификация! Шутят над стариком!

Платон Платонович был действительно немолод. Но так изнутри весел, такой воистину был милый и компанейский - не притворялся, не наигрывал, а таким и был, - что все тут, в этой кухне блестящей, зажило иной жизнью, по правде жизнью, заискрилось не вещицами, а весельем. Был он наипростейше одет, в легоньких штанцах, в каких-то из прошлого сандалетах, в рубашонке навыпуск, что слегка укрывало обширный его живот. Руки у него были сильные, чистые, именно поварские руки.

- А вы, молодой человек? Паж? Персональный телохранитель? И, разумеется, воздыхатель?

- Геннадий я, - сказал Геннадий.

- Это уже много. Не все, но много. Платон и Геннадий. Сошлись два имечка философических. А то - Рем! Что такое - Рем? О ты, волчицею вскормленный! Геннадий... Это, кажется, не шибко счастливый, но порядочность гарантирована. Вы кто у нас? У Рема Степановича обыкновенных людей не бывает. Какой-нибудь чудодей-гонщик, пожиратель рекордов? Угадал?

- Угадал, угадал, в точку, - сказал Рем Степанович. - Геннадий, пошли пошепчемся.

В гостиной, когда затворил, сведя створки, дверь, Рем Степанович отпустил себя в тревогу, ему сейчас легче было жить в тревоге, чем прикидываться веселым.

- Нашел Белкина? Говорил с ним?

- Да. Обещал разузнать. Меня подрядил в помощь. По вашему методу.

- То есть?

- Ну, вызывать там кого-нибудь, идти впереди. Ведь меня не знают.

- Что же, ну что ж.

- Уговорились завтра встретиться.

- Завтра? Что же, ну что ж. Завтра - это ведь воскресенье. А понедельник лишь послезавтра. Не скоро! Послезавтра! - Рем Степанович рывком развел створки двери. - Итак, друзья, Платон Платонович закатывает нам обед!

Они вернулись в кухню.

- Я - Один, я - Вотан поварского дела! - втолковывал там Платон Платонович Ане, тесня ее, размахивая руками. - Я шаман, если хотите! И не только в поварском деле, уверяю вас! А, это

ты, Рем?! И что тебя носит туда-назад. Шептались бы там, не мешали бы нарождающемуся чувству. Ну, ну, не бледней, не отниму женщину. Ты не меня бойся, ты его бойся, этого несчастенького Геннадия. О эти нынешние молодые! Для них нет ничего святого! Они начинают есть, хлопнув сперва рюмаху, а это кощунство, это попрание всех вкусовых законов. Язык онемеваает от спирта. Он делается одеревенелым. Нельзя так, нельзя! Сперва возьми кусочек семужки, затем... То же самое и с женщинами. Хвать и в кровать. Спирт! Между тем... Нет, женщина друга для меня лишь символ. Увы! Между прочим, Рем Степанович, я заглянул в твои холодильники. Банки, жестянки. Этикетки! Фу! Из этого консервата невозможно сделать порядочный обед. Ничего натурального. Приказываю: сперва - на рынок. Благо он у тебя рядом. Кто пойдет?

- Может, сам и сходишь? С Геннадием? - Рем Степанович привычно полез в задний карман, добыл оттуда, что пальцы ухватили, а они ухватили пяток сотенных, которые он и разжал веером. - Хватит?

- Нет, я не пойду, - отшатнулся от денег Платон Платонович. - С чужими деньгами я по рынку не хожу. Не умею покупать на чужие. Стесняюсь торговаться. Вроде как бы для хозяина выгадываю. А если не торговаться, никакого вкуса, никакого удовольствия от рыночной закупки нет. Сам сбегай с Геннадием. Я нынче не при деньгах.

- Это чтобы я оставил тебя наедине с Аней? - Рем Степанович снова стал веселым-развеселым. - Я не безумец! Я отчаянный, но не настолько! Аня, бери корзину, хватай Геннадия (Гена, ты не возражаешь, надеюсь, сопроводить даму?) и бегом на Центральный рынок. Платон, приказывай, что купить?

- Сколько человек ты усаживаешь за стол? - мигом озаботившись, спросил Платон Платонович.

- Вместе с нами человек семь будет. Позвонил кое-кому, сейчас начнут подкатывать.

- Народ грубый или с пониманием?

- Теперь все с пониманием.

- Верно, жрать все научились. Но - жрать. Можно сделать почки-соте, а можно отколотить кусок свинины. Можно из баклажан сотворить чудо, объединив их с белыми грибами, с мелко порубленной баранкой, а можно просто нажарить сковороду грибов с луком. Можно... Жаль, поздно вато идете на рынок за мясом. Но, полагаю, если там хоть что-то осталось, вам, чаровница, продавцы вынесут это что-то с низким поклоном. Там есть один маленький чернявенький мясник. Вот к нему подойдите, шепните ему, что вы от Платона Платоновича. Главное сейчас мясо. Затем синеньких, затем грибов, если захватите (поздно, поздно кидаемся на рынок!), затем зеленюшки всяческой, фруктов, затем... Перечисляя, Платон Платонович прикрыл глаза, он как бы принохивался ко всему тому, что следует купить, завораживаясь и завораживая. - Да что я толкую?! Все лучшее и без того понесут к вашим ногам, великолепная Анна. Вы только кивайте и платите и, избави бог, не торгуйтесь. Вам - нельзя. Вы - богиня. Они сами станут сбавлять цену. Такова несправедливость жизни: перед богатыми и красивыми тушуются даже торгаши. Отправляйтесь, дети мои! Бегом, бегом, у нас не осталось времени!

побывал. И оба раза с Ремом Степановичем. Но, идя на рынок, этого переулка не обойти, он прямехонько стекал к бульвару, к круглому зданию панорамного кинотеатра, к куполу цирка и к громадному павильону крытого рынка.

Мы живем, часто не замечая, что живем по древним законам, строим наши дома, как встарь, из былого, из древнего беря опыт. "Хлеба и зрелищ!" вопили римляне. И вот они - и зрелища и хлеб, сойти только из Последнего переулка по Малому Сухаревскому к Центральному рынку, где рядом цирк и здание кинотеатра. А позади, за спиной, остались кривенькие эти переулочки, которые еще недавно - что такое полсотни лет?! - служили страстям, темным влечениям, вожделению. Все не то, не так, по-другому? Оно, конечно, все не так. Мы новые, разумеется, но со старым, с древним наши нити не прерваны. Все лучшее в нас - оттуда, как и все худшее, если проследить, продумать нить, оттуда же. Мы братья и сестры былого, мы из прошлого. Мы поумнели, мы отвергли темное, мы несем светлое. Во многом мы преуспели. А вот Рем Степанович - все тот же, все такой же, от века. Как и этот цирк, как и этот рынок.

Геннадий шел, на шаг поотстав от Ани, - ах, как она шла, как ступала, как подхватывал пытливо ветер ее светлую тунику! - и тягостно раздумывал, любясь ею, как начать с ней разговор, в котором бы он мог предупредить ее, остеречь. Он понимал, что она слушать его не станет, если он впрямую заведет разговор, если даже рискнет все рассказать про те речи смутные, которые подслушал в тупике среди сосен, про Белкина, про все, о чем узнал за эти сколько же? - еще даже неполные сутки. Он понимал, что если уж он оказался в плену у Рема Степановича, чуть ли не с радостью давая ему себя опутывать, запутывать, то она-то совсем была опутана и запутана, потому что она любила его. Он понимал - он многое и стремительно обучивался понимать, - что женщина эта сейчас не захочет ему поверить.

Они проходили как раз мимо его и Кочергина школы, и Геннадий, нагнав Аню, поведал ей:

- В этой школе я учился. Все десять классов.

- Да? - Ей было безразлично, далеки были ее мысли. Она даже и глазами не повела на их школу.

- Между прочим, здесь учился и Рем Степанович.

Она встрепенулась, остановилась.

- Что же ты молчишь?!

Она быстро подошла к дверям школы, к пыльным стеклам, врезанным в старые, исхлопанные двери. Она попыталась заглянуть внутрь через пыльные стекла.

- А вон раздевалка, - сказала она. - На эти крючки он вешал свое пальтецо. Потом взбегал вон по той лестнице. Войдем? Поглядим?

- Нам надо спешить.

Теперь она и вокруг поглядела, чтобы понять, угадать, как тут было, когда он был маленьким, мальчишкой был.

- Тут все у вас сносят, - сказала. - Скоро вы и не узнаете свои бедовые места. Смотри, этот дом напротив разрезали пополам. Смотри, вон на стене квадрат обоев, вон синяя полоса лестничного марша, а ступеней уже нет, их срубили. А завтра и дома не будет. Что за дом? Что за люди? Может быть, тут жила девчужка, которую он любил.

- Тут у меня друг жил, - сказал Геннадий. - Сейчас он в "Спартаке", в команде мастеров играет. Вы любите... ты любишь хоккей?

- Верно, говори мне - ты. Ну люблю, ну не люблю. Когда как. Я не знаю, что это такое - любить хоккей или там футбол. Гладиаторы, современные гладиаторы. Зрелище. И часто жестокое. Ты занимаешься этим?

- Занимался.

- А боксом? Самбо?

- Когда служил, стал разрядником по самбо.

- Это хорошо, это просто здорово. Если на Рема вдруг кто-нибудь нападет, а ты будешь рядом, то защитишь его. Скажи, ты ведь согласился быть его защитником?

- Я в телохранители к твоему Кочергину не нанимался.

- Обиделся! Быть защитником возле какой-то резиновой кругляшки - это для тебя почетно, а заступиться за замечательного человека, если вдруг на него нападут хулиганы, - это тебе кажется стыдным.

- Он и сам еще может за себя постоять.

- Еще как! Был один случай. - Она просто вспыхнула от удовольствия, вспоминая: - Мы вышли раз из ресторана, ну и ко мне пристал очередной пошляк. Если б ты видел, как он его кинул в сугроб.

- Значит, вы с зимы знакомы?

- Хочешь сказать, что я давно его знаю и могла бы уже понять, что не все у него, как у священника? Говори, говори, я же вижу, что ты истомился, желая предостеречь меня. Ты совсем такой же, как моя мама. Вам бы только предостерегать! - Она усмехнулась, глянула как-то странно на него. - Ну, мотивы все-таки у вас разные, как я чувствую. Гена, милый, та девочка маленькая, которая стояла с тобой, а потом побежала, - она очень славная, поверь. И не отвергай ее любви. Советую. Ну, а мой Рем - он не святой, я знаю. Он - деловой человек, я это давно поняла. Теперь они так сами себя называют, те, кто умеет жить. Да, что-то он там творит со своими партнерами. Я - тебе, ты - мне. Известно. Учти, это всеобщий теперь закон. И даже самые-самые, поверь, из тех, что денно и ночью, на всех собраниях и со всех трибун толкуют нам о нравственности, им это по долгу службы полагается делать, так вон они тоже... Да что толковать?! Не наивный же ты мальчик. Не слепой же.

- Что - тоже?

- А вот... А вот мой директор театра, глазки с поволокой, вальяжный, торжественный, а он, говорят, живет все-таки не на свои... ну пятьсот, ну шестьсот рублей в месяц, - куда как пошире живет. Откуда деньги берутся? Говорят, он что-то там комбинирует с театральными билетами, вошел в долю с распространителями билетов. Фу! Не грязь ли? Ведь он проповедник у нас, он пьесы обсуждает, ему положительного героя подавай. Раз зазвал меня в свой кабинет, выставил какого-то пошла, стал подходить, изгибая стан. Я повернулась - и в дверь. Или вот на вечеринке одной я собственными ушами слышала, как знаменитый писатель кричал на знаменитого режиссера, что тот его обобрал. Не читай мне мораль, Геннадий. Ты - честен? Ты - трешки не берешь?

- Не беру.

- И глупо! А вообще-то ты славный парень. - Она остановилась, поманила его к себе пальчиком, а когда он подошел, прижалась губами к его щеке, помедлила, будто раздумывая, и соскользнула губами к его губам, к уголку его онемевшего рта. Шепнула, губами у губ: - Не люби меня, Гена, я плохая, плохая... - Оттолкнула его, пошла, снова став величавой, отдавая

ветру свою тунику. Сыграла сценку. А парень онемел и онемело побрел за ней, таща громадную, нарядную, из цветных прутьев корзину. Раб шел за своей хозяйкой, сопровождая ее на рынок - в мясные, в овощные ряды.

18

О кино, ты - мир! О цирк, ты - мир! О рынок, ты - мир!

Они вышли к кинотеатру, к цирку и к рынку затем. Проходя мимо афиш, Аня оживилась:

- Надо обязательно сходить в панорамный! Пойдешь со мной?

- Пойду.

- И в цирк. Сто лет в нем не была, а люблю. Сходим?

- Сходим.

- Однажды, совсем девочкой, я была в цирке с родителями. И запомнился тот цирк. Потом уже взрослой ходила, уже актрисой. Но запомнился тот, когда была девочкой. Помню, было страшно и прекрасно. Я во все тогда верила. Представляешь, во все. Ко мне подошел клоун, это был Румянцев. Представляешь, сам Румянцев? Он положил мне руку на плечо. Сказал: "Какая красивая девочка". Он даже не улыбнулся, серьезно так поглядел. Может быть, он благословлял меня, как думаешь? На лицедейство, на муку эту и счастье... Ой, мне обязательно надо позвонить маме! Непременно! Когда пойдем назад, ты напомни мне, чтобы позвонила. Напомнишь?

- Непременно.

Они вошли в главный рыночный павильон. Их сразу заметили. Ее.

Черноволосые джентльмены, картинно стоявшие на ступенях, локаторами повели за ней свои рентгеноскопические глаза. Их говор гортанно-голубиный замер. Какое-то всеобщее "ц" пронеслось среди этой публики. Его, Геннадия, они не замечали. Только она вошла, взошла на сцену.

Здесь терпко пахло. Все смешалось - и тонкий запах цветов по правую руку, и дурманящий запах дынь, яблок, слив, винограда - по левую. А еще и укропом повеяло, малосольными огурцами - этот запах шел из павильона напротив. И вот все это смешалось, и все это, аромат этот, живой, сладкий, терпкий, острый, - он как бы приветствовал Анну Лунину, обнимал, выстилался перед ней, сам себя выхваляя и предлагая.

- Сперва мясо, - сказала она. - Бегом в мясной павильон. Мы опаздываем. - Она оглянулась на Геннадия, нарочно протянула к нему руку, чтобы все эти джентльмены знали, что она защищена, чтобы не вздумали подойти к ней (еще чего недоставало!): - Геннадий, да не плетись же!

Они быстро прошли через павильон, где были овощи и где народ был иной, не княжеского рода, все больше женщины стояли у своего товара - у кабачков, цветной капусты, баклажанов, малосольных огурцов, у особенно пахучих гор лука, укропа, петрушки.

Скорей, скорей мимо этих рядов, к ним они еще вернуться. Сперва - мясо. Но как бы быстро Аня ни шла тут, ее и здесь приметили. Все женщины, даже старухи, а уж о молодых и

говорить нечего, все повели за ней глазами. Геннадий посмотрел вместе с ними: как хороша она была в своей поспешности, целеустремленности. И как расступались перед ней, хотя толкучка тут была. Расступались. Он даже попевал в образовавшийся проход. Он был с ней, с этим считались.

Мясной павильон был пустоват. Тут торговля уже подходила к концу. Опоздали, явно опоздали они, если, конечно, не довольствоваться какими-то жалкими остатками, этими поникшими ошметками мяса, уныло распластавшимися на прилавках. Опоздали? Аня вошла, остановилась, глянула сочувственно на продавцов при таком унылом товаре - и свершилось чудо. Лишь глянула - и чудо. Маленький, чернявый, лысо-кудрявый молодой человек, с топориком, в белом окровавленном халатике, вдруг как-то разом подрос, подпрыгнул, что ли, да так в прыжке и замер, и высокий - он, как оказалось, на цыпочки встал, побежал навстречу Ане.

- Сколько? Чего? - Он было глянул ей в глаза, но прозрачность их его смутила. Он, мясник этот, смутился.

- На семерых, - сказала Аня. - Вырезку. Да вы сами знаете.

Он - знал. Он кинулся к своей окровавленной колоде, он куда-то нырнул, мелькнув утлым задом, он откуда-то извлек большой сверток, с проступью свежей крови.

- Для себя берег! Ничего не жаль! Аня Лунина, так?! Узнал?!

- Узнал, узнал. Сколько?

- Ничего не жаль! - Похоже, он хотел отдать мясо даром.

- Нет, нет, милый, пальто не надо, - усмехнулась Аня.

Не обиделся, снес усмешку, только опять маленьким стал.

- Тридцать рублей. Своя цена.

Аня раскрыла сумочку, небрежно, не глядя, добыла из нее хрусткую сотню, небрежно протянула, глянув прозрачными глазами повыше кудряво-потной маленькой головы.

- Вам привет от Платона Платоновича, - сказала она, даря ему эти несколько слов в награду за усердие.

- О-о! - помолился на ее голос мясник. - А кто это, скажи, красавица? Он вывалил на колоду из карманов мятые бумажки, отсчитал сдачу, выбирая десятки поновей.

- Платона Платоновича не знаешь?

- О-о, всех забыл!

Она взяла мятые десятки, мясо кивком велела взять Геннадию.

- Пошли, тут сладилось. - А когда они вышли из павильона, сказала, отмахнувшись рукой, как от мухи: - Дурак.

- Теперь куда? - радостно спросил Геннадий, которого яростно обозлил этот мясник коротконогий. - Еще бы немножко, я бы его встряхнул. "Красавица"! Выпучился!

- А он бы тебя топориком. Голову на плаху - и хрясть.

- Не успел бы. Руку с топориком на себя, за плечо и...

- Вот я и говорю, цены тебе нет. А теперь за грибами. Они где-то здесь должны быть, на воздухе.

- Вот они!

На прилавках вдали, где и совсем заканчивался торг, одни лисички желтели, как нарочно, как по мановению доброй феи, появился в сей миг молодой человек с бородкой и корзинкой белых грибов (белых!), которые он как раз начинал выкладывать на доски прилавка.

Аня подошла, почти не поглядела, повела лишь рукой над коричневыми гномами, над крепеньким этим лесным народцем, вынырнувшим из корзинки, чтобы служить ей. Она лишь спросила:

- Сколько?

Молодой человек с бородкой клинышком, явно не рыночный человек, страшно смутился. Он узнал актрису Лунину. Вот уж перед кем ему и не мерещилось предстать торгашом.

- Я, право, не знаю...

- Еще не разузнали, как тут нынче идет белый гриб? - Она не собиралась щадить молодого человека. - Мы спешим, доцент. Ведь вы же доцент, угадала?

Молодой человек готов был провалиться, нырнуть под прилавок, у него аж бороденка взмокла.

- Прогулка по лесу, а тут грибы, грибное вдруг местечко. Не пропадать же им? Жена где-нибудь в Коктебеле, жарить некому. Так ведь?

- Я не доцент, - сказал молодой человек.

- Ну все равно. Сколько?

- По рублю, наверное, за кучку.

- Так вы еще не наделали кучек.

На него жалко было смотреть, и Геннадий пришел на помощь.

- Я недавно покупал такие грибы здесь же, - сказал он. - Если брать все, их тут рублей на пятьдесят.

- Вот и отлично. Прошу. - Аня выложила на прилавок сдачу мясника, брезгливо отодвинула ребром ладони деньги. - Тут, кажется, семьдесят. Я беру грибы вместе с корзинкой. Геннадий, возьми товар у доцента. Прощайте, милый доцент. Вы нас очень выручили.

- Я не доцент, - сказал им в спину молодой человек со взмокшей бородкой.

- Не думаю, чтобы он когда-нибудь еще появился на этом рынке, - сказал Геннадий.

- Да? Почему же? Я, кажется, заплатила ему даже сверх цены.

- Он весь взмок от стыда.

- О, Геннадий, не преувеличивай его застенчивость. Это все - деловые люди. Отчего же не пококетничать с хорошенькой женщиной, с актрисой, не наиграть восхищение. Но ты, надеюсь, заметил, свои денежки они не упустили. Деловые, деловые люди. Только - мелкота. Вот и вся разница - мелкота.

- А какой покрупней, самый бы крупный, не упустил бы и тебя.

- Замолчи! Ты мне грубишь. Разве ты не понял?.. Если угодно, не он, а я сама, понимаешь, сама повисла на нем. Мне наскучили все эти хлюпки, вся эта тонконогая или натренированная на теннисных кортах мелюзга. Английский язык, дипломатические посты, машины иностранных марок! Сынки! Сыночки! Сами ничего, ничегошеньки из себя не представляющие! Мамина забота, папины возможности! А этот... Ты-то почему к нему ходишь? Ведь не только же из-за денег? Он - личность! Он - лидер! - Она остановилась как бы для того, чтобы перевести дух, сама себя высмеяла смешком: - Нашла где исповедоваться! Впрочем, здесь такой воздух... Да, а теперь зелень, фрукты и - домой.

Они вернулись в павильон, где продавалась зелень, Аня умерила шаг, спешить больше было некуда, корзина отяжелела добычей.

- Главное: не забыть киндзу, - сказала Аня. - Эту травку я почему-то возлюбила, хотя и не знаю, когда ее надо есть. Спрошу у Платона Платоновича.

- К мясу киндза, к мясу, милая, - сказала пожилая восточная женщина, подхватывая, отряхивая от воды пучки своего товара. У нее золотые браслеты были на полных, в синеву уже от возраста руках. У нее и серьги тяжелые повисли, и цепочки из золота опутали, впиваясь, набрякшую шею. - А еще к сыру, к брынзе. И к хорошей беседе, когда напротив мужчина, у которого хищные белые зубы.

- И усики! - подхватила Аня. - Маленькие, стрелочками.

- Зачем смеешься? А что, и усики!

Они поглядели друг другу в глаза, что-то там разглядев одна в другой.

- Счастливая? - спросила торговка.

- Не пойму, - призналась Аня.

- Так всегда бывает, когда настоящий мужик.

- У меня в первый раз так.

- Верю. Сори деньгами, проверяй. Даже совсем скупой мужик, когда любит, становится щедрым.

- Я и сорю, - рассмеялась Аня. - Но он, увы, очень богатый, так его не проверишь.

- Это плохо. Очень богатый - у нас это плохо.

- А сама вся в золоте.

- А, не завидуй! Прошлым обвешалась! Стала бы я тут этой дрянью торговать! Молодой человек, подставляй корзину. Ты кто, водитель?

- Вроде.

- Береги свою даму. С вас, мадам, всего-навсего пятерка. Ах, девушка, в какой же ты опасной поре!

- От себя не сбежишь. - Аня протянула торговке десятку.

- От судьбы, скажи. От себя я сколько раз убегала, от судьбы не убежала. Пятерка сдачи. Мне лишнего не нужно. - Торговка кинула пятерку в корзину Геннадия. - Береги ее, понял меня?

- А теперь фрукты, - сказала Аня. - Но я, кажется, начинаю тут уставать. Ароматы эти терпкие. Прямо голова разболелась.

Они вернулись в главный павильон.

- Знаешь, Гена, купи-ка ты сам все эти яблоки, груши, ну, дыню какую-нибудь, а я пока пойду позвоню маме. Идет? Вот тебе сотня. Хватит? Встретимся у автоматов на Цветном бульваре, напротив цирка. Заметил там автоматы, стекляшки такие?

- Заметил. - Он взял ее сотню, хрустнул ею, засовывая в карман.

- Вот там. - Она пошла от него, торопясь проскочить зону лазерных, нет, рентгеновских лучей, которые направили на нее все эти местные джентльмены фирменные штаны, фирменные курточки, фирменные усики. Геннадий было попробовал поглядеть на удаляющуюся Аню их глазами, и дышать ему стало нечем. Прибить бы всех! По мордам, по мордам бы им разжатой пятерней, чтобы сгасли эти глазки-буравчики, эти раздевающие женщину рентгенчики.

Он торопливо купил несколько яблок, что покрупней, несколько груш, совсем громадных, купил, не торгуясь, хотя и заломили с него, большую дыню, купил громадную ветвь сине-черного винограда. Корзина его едва все это вместила.

- А помидоры?! Напомнил какой-то старикан, протягивая на ладонях крупные красные помидоры. - С родной земли, не ташкентские. Ты ведь русский? Возьми, поддержи старика. С нашей, с подмосковной землицы.

Он купил помидоры, дав старику самому вытащить из зажатых в руке бумажек несколько рублей.

- По совести беру, не страшись. По-божески. А дамочка у тебя, как приметил, ой беда, ой норов. Ты с ней поостороже. Бабы, они без строгости...

Геннадий отошел от старика. Что еще купить? Про что забыли? Он повел глазами и углядел цветочные ряды. Там рдело, белело, желтело, и оттуда тянуло не жратвой, а полем, лесом, там потише было, почестнее.

Он подошел к первому цветочному прилавку, к первому же старику в белом, высоком, как у дворника, фартуке. Перед стариком стоял громадный кувшин с розами. Не счесть, сколько их тут было.

Геннадий сунул руку в карман, где еще оставались у него после вчерашнего бара четыре хрустких четвертных.

- Сколько за все? - спросил.

- Так-таки за все? - усомнился старик. - Размах что замах.

- За все!

- Ах, молодость, молодость! Уважаю! - Радость старика была понятна. Ну, чохом! Ну, чтобы не стоять здесь! Ну, бери за сотню!

- А у меня больше и нет, - Геннадий достал четыре хрустких четвертных, как избавляясь, торопливо протянул их старику.

- И отлично! Значит, не продешевил! - Старик выхватил обеими руками из кувшина свои розы, громадную охапку роз, умело обернул эту охапку в листы целлофана, протянул, желая и суля:
- Удачи! Сватовства безотказного! Детей румяных!

Как великолепен он сейчас был, наш Геннадий, если глянуть на него со стороны. В руке одной, оттягивая ее, повисла цветастая корзина, в которой царило само изобилие, все дары рынка, все лучшее, что тут было, улеглось в этой корзине. И так разместилось, что залюбуешься. Нарочно никакой художник не смог бы лучше подобрать цвета - красный от помидоров рядом с желтым от дыни, с румяным от яблок, с зеленым от лука, синим от винограда, коричневым от груш. И еще и еще - тона и полутона. Это в одной руке. А в другой, едва вобрав в цепкий охват, нес он свою охапку юных роз, иные бутоны еще не распустились, на них, казалось, еще жива роса. Геннадия самого за этими розами и возле этой корзины почти не было видно. Шли на длинных чьих-то ногах великолепная клумба и великолепнейший сад-огород-бахча.

Таким цветником и садом Геннадий и подошел к стекляшкам автоматов, выстроившимся рядом в проходе Цветного бульвара. Еще издали увидел он сквозь цветочную чащобу в одной из стекляшек Аню. Она там хорошо устроилась, спокойно беседовала, не заботясь, что ее со всех сторон разглядывают, что уже небольшая толпа поклонников и поклонниц собралась неподалеку. Можно было подумать, что они смотрят на нее в экране телевизора. Рамки из стекла и были совсем такими же, как большой экран. Она же в том экране жила своей обычной, очень правдивой, располагающей к доверию жизнью.

Геннадий подошел поближе. Стекляшка не была защищена ни от взглядов, ни от ушей. Он услышал, как своим изумительно правдивым голосом Аня говорила что-то мирное, спокойное своей матери. Больше слушала, лишь иногда успокаивая, как вот сейчас:

- Ну мамочка, ну что ты волнуешься? Все хорошо, все просто отлично у меня и замечательно... Да говорила же я тебе...

Она увидела розовый стоголовый куст, надвинувшийся на нее, эту корзину доверху, узнав по ней, по торчащим длинным ногам, Геннадия. Она обрадовалась, рассмеялась, замахала, зовя свободной рукой. Вскрикнула радостно:

- С ума сошел, столько роз! Нет, мамочка, это я совсем другому товарищу говорю. Представляешь, предстал передо мной с букетом величиной с наше красное кресло в столовой. Нет, ты его не знаешь. Конечно, славный малый. Ну, мамочка, я прощаюсь. Предстоит вечеринка. Да, еще день, но... И возможно, я даже тут останусь ночевать. Не тащиться же ночью через весь город. Провожатые? Ну их! Ночью-то, ну их! Надежнее переночевать у подружки. Нет, ты ее не знаешь. Я вас обязательно познакомлю. Мамочка, не смей, прошу тебя, тревожиться. Ну что это такое? И потом, разве дочь у тебя еще маленькая? Совсем, совсем взрослый ребенок. Правда? Целую. Я еще позвоню. Она повесила трубку, тяжело вздохнула, как после труднейшего на сцене разговора, когда столько надо было всего сыграть, и по правде, только по правде, что пот ручьем, но никакого усилия показывать нельзя было, как раз никакого пота, а одно лишь беспечное щебетание, лишь радость жизни в голосе. Уф, как это все трудно - такое сыграть или вот убедить родную мать, что нет ничего тревожного, если она, ее дочка, где-то там заночует, у какой-то приятельницы, которую мама ее еще не знает, но, конечно, скоро с ней познакомится. И там, неведомо где, громадный букет роз неведомо кто ее дочери преподносит. "Конечно, славный малый..."

Аня подошла к Геннадию, рукой гоня на себя ветерок: взмокла там, в стекляшке.

- Все купил. - Он поставил корзину и протянул Ане скомканную в кулаке сдачу. - Осталось от сотни.

- И все, что в корзине, и эти цветы - и еще сдача? - Она взяла деньги, кинула их туда же, в корзину.

- Цветы я на свои купил.

Тогда она совсем близко придвинулась к нему, заглянула в глаза, спросила сочувственно:

- Это так серьезно?

- Не совсем на свои. - Он отвел глаза. - Собственно говоря, на его же опять деньги. Он вчера дал мне две сотни за какую-то там работу на него. Ну, одну сотню я прокутил с друзьями, а на вторую...

- О, совсем все серьезно! - Она опечалилась, морщинка залегла между бровями. - Бедная я... Возле меня мужики не умеют дружить... - Она взяла у него цветы, сразу же запламенели они и стали праздником, а рядом с Генной они подремывали, он всего лишь нес их. Аня же Лунина шла с ними, вошла в них. Эта площадка на Цветном бульваре стала сценой. Набегали все новые зрители. Они наблюдали, притихнув, как движется их любимая актриса, сошедшая к ним сюда с экрана их домашних ящиков-чудодеев, чтобы сыграть прямо здесь, посреди бульвара, какую-то загадочную сцену из загадочной очень, из счастливой, праздничной жизни. Эти розы, эта изобильная корзина, этот длинноногий, громадногласый влюбленный (а что влюбленный, это было ясно-понятно) и она в цветах - все это поставлено было каким-то талантливым режиссером, игралось по сценарию. Того и гляди, зажурчит где-то сбоку притаившаяся в кустах кинокамера, а потом прозвучит усиленный рупором голос режиссера: "Стоп! Снято!"

А про что фильм? Про счастье? Про радость? А может быть, про взрослых этих детей, про наших взрослых детей, которые вот так ходят-бродят где-то по городу, с цветами и плодами, а куда забредут - нам, отцам и матерям, неизвестно. Позвонит такая, совсем взрослая, а для матери своей совсем маленькая, скажет беспечным голоском: "Мама, да ты не волнуйся! Мама, я сегодня домой не приду!" - и все. И вешай трубку, мама, и скрывай глаза от мужа, который уже все понял, наклонил голову, смолчал, готовясь к бессонной ночи, еще одной, ибо такова уж их участь - матерей и отцов взрослых детей. Так про что фильм?

Они снова миновали школу номер сто тридцать семь, возле которой не стали задерживаться, только поглядели на нее, поглядели и на дом напротив, как бы данный в разрезе, да он и был в разрезе, был уже погибшим домом, покинутым людьми, когда-то жившими и в этой комнате с желтыми обоями, ходившими по этой лестнице, от которой остались лишь срубы ступеней и синяя полоса вверх вдоль лестничного марша.

Вышли на Трубную улицу, куда стекали и Последний переулок, и Большой Головин, и Пушкин переулок, недавно ставший улицей Хмелева.

- Пойдем по улице Хмелева, - сказала Аня. - Там ведь филиал театра Маяковского. Пойдем, глянем на афиши, что они там ставят у вас.

Свернули на улицу Хмелева.

- Платон этот будет ругаться, что так долго, - сказал Геннадий.

- Пускай. Соскучился? А я вот нет. Может, отменить всю эту затею и укатить мне домой?

- И правильно! - обрадовался Геннадий.

- А вот и неправильно! Будем веселиться! И надо ведь проверить, как это П, П, П - надо же, три П! - умеет готовить! Тебе есть не хочется?

- Хочется.

- Съешь яблоко. И я съем. - Она взяла из корзины яблоко, белозубо улыбнулась этому яблоку, надкусывая, одаривая его прикосновением своих губ. Геннадий про свой голод забыл, загляделся на нее.

Вот и театр этот. Он был в первом этаже большого, неряшливой постройки дома, с повисшими по фасаду недавними лифтами. Театр разместился тут в подвале, в обширном, глубоком. Какие-то там раньше склады были, товары копились. Геннадий несколько раз был в этом театре, когда в школе учился. Ему нравилось, что надо спускаться в подвал, сразу в тайну будто входишь. Пьесы, которые он там смотрел, сдвинулись одна с другой, эти воспоминания сейчас было не расцепить.

На одной из створок входа небрежно была прилеплена бумажка, сообщающая, что театр закрыт, отбыл на гастроли до сентября. Но дверь была не заперта, и Аня вошла, вступила на крошечную площадку перед кассой и лестницей, мраморные ступени которой круто вели вниз.

Перед кассой, за столиком администратора сидела увядшая женщина, караулившая вход. Она сердито вскинулась на пришельцев, готовая обругать их, но вздрогнули ее губы, сменяя готовое слово, нарождая иное. Она узнала Анну Лунину.

- Господи, Лунина!

Хотела выкрикнуть: "Куда вас черти несут?!" А сказалось: "Господи!"

- Мы только на минуточку, - сказала Аня. - Я только вздохну театром. А где ваши гастрोलеры?

- В Свердловске были. Теперь все поразъехали в отпуск. А я ведь ваша поклонница, Аня. Знаете, мы все, театральные, на вас большие надежды возлагаем. - Оживало, окрашивалось увядшее лицо. Наверное, эта старая и усыхающая женщина когда-то мечтала, а может быть, даже и была актрисой. Из тех, совсем крошечных (не случился талант), но беззаветно преданных театру.

- Спасибо, милая, спасибо.

- Не к нам ли вздумали в труппу вступить? Вот бы была радость!

- Я верна своему театру. Это в хоккее, вот у них, - Аня кивнула на стоявшего за спиной Геннадия, - принято перебегать из команды в команду. Впрочем, я бы, пожалуй, не отказалась сыграть тут у вас в какой-нибудь драме, даже трагедии. Вот для них, - она снова кивнула на Геннадия, - для здешних жителей, из этих тут ваших переулков. У меня здесь друзья живут.

- Думаю, не проблема, - сказала вахтерша. - Только намекните, и вас тут же пригласят. Хоть в "Родственников", хоть в "Ящерицу". Ни Козлитина, ни Якунина против вас ни в коем случае не станут возражать. Вы у нас душа, мы вас все любим. Вся театральная Москва. Верите?

- Спасибо, родная. А что, и сыграю. Даже не в драме, а в трагедии. Мечтаю сыграть в трагедии. Выкричать себя! А то все в пьесах-пряниках играю. И сама там - пряник.

- Вы сможете, вы всё сможете. Лунина! Анна Лунина! О, о вас уже говорят! Серьезные ценители! Свои приняли. А это не просто, не легко.

- Спасибо, родная, за добрые слова. Вы наша, вы в театр еще девчонкой пришли, угадала?

- Конечно. И уж до последнего вздоха. Как вам хороши эти розы. Цветов должно быть либо один-два, либо целое море. Так же и со слезами нашими, бабьими. Либо две слезинки, либо уж потоки слез. Вы что загрузили? Вам ли грустить?

- Замерзла вдруг.

- Это из нашего подвала повеяло холодком. В жару даже хорошо. Хотите в зал заглянуть, прикинуть, что да как? У нас зал располагающий. И акустика чудо. Ведь тут сам Плятт начинал, Ростислав Янович. Местечко не без традиций. Подвал? А что - подвал? Самое лучшее на театре начиналось в подвалах, в сараях даже. Станиславский-то, в миру Алексеев, где он начинал? Именно что в сарае. Я верю, я еще буду здесь продавать афишки, в которых птичкой будет обозначено, что сегодня играет Анна Лунина. Сбудется? Обещаете? Заглавная роль в великой трагедии! Даете слово?!

- Даю! - Актриса клялась актрисе, удачливая, взысканная - совсем почти никакой. Но в главном, в любви своей, в преданности своей, они были ровней. И сейчас не шутили. Серьезный случился разговор.

Снова вышли на зной улицы, поднялись быстро к Сретенке, а там мимо аптеки - за угол, мимо затем столь необходимых порой букв "Ж" и "М" на утлых дверях, мимо входа в восемнадцатое отделение милиции, на пороге которого скучал все тот же улыбчивый старший лейтенант - нет ему роздыха, решил, видно, за всех коллег передержурить! - и вот и тополь этот вековой, вот и домик заветный. Прошли весь этот короткий путь без единого слова, в свои уйдя заботы, тревоги. Только со старшим лейтенантом, поравнявшись, перемолвился Геннадий.

- Вот, - сказал, - такие дела.

- Понял, ну, ну, - отозвался старший лейтенант, благожелательно улыбнувшись.

20

В две пары зорчайших глаз встретили Аню и Геннадия Рем Степанович и Платон Платонович. Все углядели, все поняли.

- Цветы от молодого человека? - спросил Рем Степанович. - Ты отчего скисла? С мамой по телефону разговаривала?

А Платон Платонович уже рылся в корзине, прежде всего добираясь до мяса. Впрочем, по пути, выхватив крупную грушу, вскрикнул от радости:

- Бера! Как по заказу! Праздник души! Лучше груши есть только груши! Геннадий, ты купил? Сослепу? Такие удачи, такие экземпляры великолепные обязательно достаются лишь профанам. Но, голубчик, спасибо все равно, уважил.

- Представляешь, Рем, он выложил за эти розы целую сотню, - говорила Аня, расхаживая по кухне, входя в гостиную, всюду расставляя по вазам свои розы. Геннадий молча помогал ей, наливал в вазы и вазочки воду, подносил их к ней, идя следом.

- Шальные деньги, а как же, - усмешливо косился, будто бы посмеиваясь, на Геннадия Кочергин. - Трудовые, это когда розетку поставил на стенку, а шальные, это когда у меня поработал.

- Нет, ты не понял, - издали, из глубины квартиры, говорила Аня, переходя с места на место, отыскивая для своих роз самые лучшие позиции. Тут все не так просто.

Геннадий молча ходил за ней, отрешенным было его лицо. Словно не о нем разговор. А он и не о нем был, этот разговор. Он был вообще разговором, когда что-то же надо говорить, если о главном невозможно заговорить. А главное - оно нависло в воздухе. В чем оно было, это главное, никто бы тут не мог пояснить, но говорилось вот об одном, а думалось каждым про другое, про что-то томящее.

Казалось бы, Платону Платоновичу-то зачем, с чего томиться? Но и он тараторил не о том, про что бы хотелось сказать, но и ему тут трудно было дышалось.

- Слишком много грибов, - ворчал он, кидаясь чистить грибы. - Грибов на столе, особенно белых, царских, должно недоставать. Икры - тоже. Любой деликатес, любой дефицит - он и на столе должен быть не в избытке. Тогда дополнительное происходит слюновыделение, гость начинает жадничать, тянуться с тарелкой. Глядишь, он и все прочее слопает, пожадничав. А для хозяина с хозяйкой - это радость души. Вот, к примеру, как угощают в Грузии. Не в фильмах грузинских, где мизансцена украдена у Пиросмани и где пируют князья. Нет, на самом деле как угощают, в обычном, не княжеском доме. Там ставят на стол одну всего бутылочку. Сыр - да, лаваш - да, лук - да. А выпить - всего ничего. Гость хватается за эту бутылочку, поняв, если он приезжий, что с выпивкой в этом доме худо. Наливает, спешит выпить, еще себе налить, так сказать, запастись из обмелелого колодца. Ба, а вот и еще одна бутылочка появилась! Речь идет, друзья мои, о водке, только о ней. Сухие вина не принято так подавать. Гость видит еще одну заветную. Но он продолжает спешить. Народу - вон сколько, а бутылка наверняка уж последняя. Между тем сухое вино - это ведь напиток для пыток, его усидеть еще надо. Гость хватается за вторую бутылочку. Наливает, выпивает, спешит. Ба, а вот на столе и еще одна! Ах вот что... Но уже поздно. Уже насосался наш гостюшка. Что и требовалось доказать.

Наконец розы были пристроены, и Аня с Геннадием вернулись на кухню. Здесь ничего невозможно было узнать. Упорядоченный этот японский рай, где для всякого продукта была своя полочка, свое место, свой цвет и даже градус, превратился за какие-то минуты в тот же самый Центральный рынок, но только сгрудивший, перемешавший ряды. Все, весь товар, всю добычу, принесенную в корзине, и все эти банки и жестянки, добытые из двух холодильников, Платон Платонович раскидал, разметал дерзко и вдохновенно, чтобы подсобнее было ему трудиться. И он уже был в кокетливом Анином фартучке, слегка напоминая теперь развеселую немолодую бабу, вскорости ожидающую ребенка.

Рем Степанович, забившись с креслом в уголок, не мешал ему. Поглядывал лишь будто бы веселыми глазами.

- Рем, да он же погромщик какой-то! - обрадовалась Аня. - Так ей, так ей - этой кухоньке! Русский человек простор любит! - Она тоже подкатила кресло в угол, уселась, положив руку на руку своего Рема Степановича, шепнула: - Милый, расхмурься. - Громко позвала: - Гена, тащи кресло сюда, садись. Будем наблюдать артиста из первого ряда партера.

Геннадий так и сделал, подтащил еще одно белое кресло, легко покотившееся на вертко-послушных колесиках, сел рядом с Аней.

- Мясо! Мясо! Мясо! - азартно перешлепывая вырезку с ладони на ладонь, пританцовывал Платон Платонович. - Отличное мяско! Мой карапет отпустил?

- Он, - сказала Аня и вдруг начала вдохновенно лгать: - Едва только я передала ему привет от Платона Платоновича, как он аж подпрыгнул. И кинулся врассыпную. Мяса на прилавках вообще уже не было. Одни ошметки. А тут сразу появилась эта вырезка. Ваше имя, Платон Платонович, сотворило чудо.

- Да?! А я что говорил?!

Зашипело, задымилось мясо, брошенное издали и небрежно на раскаленные сковороды. Цирковой прямо номер. Без промаха летели куски, ложились, как у жонглера, того и жди, назад полетят.

- А! - побахвалился своим умением Платон Платонович. - Рем, гости твои точны? Такое мясо не передерживают.

Рем Степанович глянул на часы на руке, зачем-то поглядел и на часы на столе и на часы, вмонтированные в кухонное устройство, где еще было столько всяких циферблатов и кнопок, словно эта кухня умела и летать. Все стрелки показывали одно и то же время.

- Мои гости точны, - сказал Кочергин. - Приучены к точности. Деловой, обязательный народ. Сейчас заурчат моторы. Действуй.

- Есть, капитан! - Платон Платонович вдруг отбежал от плиты, от шипения и бульканья, подскочил к Ане, зорко и усмешливо глянул ей в глаза. - Про карапета соврала, голубушка? Он и не вспомнил меня, так?

- Да что вы, что вы! - правдиво распахнула она свои прекрасные, свои и без того правдивые глаза.

- Подтверждаете, молодой человек? - уставился Платон Платонович на Геннадия.

- Не вспомнил, - сказал Геннадий, глядя на Аню, дивясь ей.

- Вот! Он еще не безнадежен!

- Горит твое мясо-то, - сказал Рем Степанович.

- У меня может все сгореть, но мясо у меня не подгорает. - Платон Платонович мягко, по-тигриному, шагнул к плите, в обе руки схватил две сковороды, рванул, подбросил на них куски мяса, цирковой демонстрируя номер.

- Вот и цирк! Вот мы и в цирке, Гена, - сказала Аня. - А ты предатель.

- Причем, учтите, в цирке, где работают без лонжи. Впрочем, тут все работают без лонжи. - Платон Платонович обернулся, всмотрелся, поблескивая зоркостью своих дальнорючих к старости глазок. - Верно, Рем Степанович?

- Это уж точно, - отозвался Кочергин и опять посмотрел на свои часы на руке и на часы в плите и на столе. - Друзья, пошли в гостиную. - Он поднялся. - Наш повар работает сразу две работы. Он и жарит-парит и прикидывается Жванецким. О, эта страсть к намекам и к обличениям, столь свойственная нашим друзьям! Я привык, конечно, я смирился, но иногда...

Аня поднялась и пошла за ним. Геннадий помедлил, поколебался, сжимая и разжимая пальцы на ручках кресла, но тоже встал и тоже побрел за ними.

- Иди, иди, паренек, - сказал Платон Платонович. - Но учти, здесь тебе жарко, а там будет душно.

Действительно, там сразу стало душно. Войдя в гостиную, Рем Степанович принялся включать все свои увеселительные ящики. На цветном экране вспыхнули забавные мультяшки, кассетный магнитофон тихонечко запел женским низкоголосым дуэтом. Женщины взывали с сильным акцентом: "Ямщик, не гони лошадей!.." А на экране другого телевизора, черно-белого, скромно забившегося в уголок, но снабженного видеоприставкой, вдруг

вспыхнули и ударили в глаза нагие тела. Они там завозились, в углу, эти тела. Хочешь крупным планом? На, смотри. Еще крупней крупного план. Что, заколотилось сердчишко? Наползла на глаза муть?

Войдя, и воззрился в этот угол Геннадий. Сразу же отвел глаза, потому что Аня на него из-под руки смотрела, но сразу же и вступил в духоту, в подсматривание это. Все трое сейчас тут друг за дружкой подсматривали, имея в виду этот из сплетенных тел мерцающий экран, на который смотреть было стыдно, друг перед другом стыдно, но и не смотреть было трудно. Впрочем, Рем-то Степанович - он забавлялся, поглядывая на Аню и Геннадия, ему та карусель в экране давно наскучила, ему все, должно быть, давно наскучило, а уж эта лихорадочка и подавно. Иная лихорадка, иная забота жгла его, но важно было не показывать вида. Вот он и не показывал, отвлекаясь, развлекаясь.

- Да выключи ты эту гадость! - не выдержала Аня. - Что за смысл в этой порнографии на экране?

- Добродетельность ваша, сударыня, меня умиляет, - сказал Рем Степанович. - Впрочем, вы ведь понагляделись, надо думать, на гастролях, по границам-то. А вот Геннадия внове. Выключить, Гена? Только не ври, не ханжи. Суббота - не работа. Гуляем!

- Выключить, - сказал Геннадий, разрешив себе еще разок глянуть на экран, так сказать, на прощание. Но взглянув, споткнулся о взгляд Ани. Ничего интересного! - Он озлился: ну чего смотрит, что он ей?! - Может, старикам интересно!

- Верно, старикам и это интересно, старики народ любознательный. - Рем Степанович выключил экран, тела там медленно сгасли, содрогнувшись в последний раз.

- Смотрите, дети, мультяшки, это для вас. - Кочергин снова глянул на часы на руке, поискал глазами и нашел старинный циферблат на камине. Витые стрелки там, жившие под фарфоровыми ногами и подолами кавалеров в чулках и дам в кринолинах, показывали точно такое же время, что и современная "Омега" на руке. - Что это с ними? Почему не едут? - Он потянул из угла дивана свой занятый телефончик, змейкой выскользнувший к нему, набрал номер. Долго ждал, вслушиваясь в отозвавшиеся длинные гудки, не возьмет ли кто там трубку. Никто трубку не поднял. - Выехал один. В пути. - Рем Степанович еще один номер и снова по памяти набрал на диске. И снова длинные гудки, и снова никто трубки там не поднял. - И этот в пути. - Он еще один набрал по памяти номер. Снова все так же получилось: длинные гудки, никто трубку не поднял. И этот в пути. Что ж, да нас четверо. Полный сбор. Пойду гляну, не надо ли пособить Платону. А вы смотрите, смотрите свои мультяшки. Про милых этих зайчиков и попугайчиков. Тоже плодятся как-то же. Скоро, уверен, и детишек начнут про это просвещать. О, прогнивший Запад!

Он ушел, забывчиво погрузнев, чуть пришаркивая. Так, должно быть, он ходил по дому, когда был один и когда заботы, тревоги, все эти соображения и хитросплетения так умучивали, что позабывался самоконтроль и годы, старость эта проклятая, вставали на пороге. Еще не сцапала старость, но уже на пороге. Обычно, поймав себя на том, что ступил не вверх, а вниз по ступенькам, человек встряхивается, опаматывается, вскидывает тело, чтобы назад, чтобы вверх шагнуть. Так с каждым из нас случается. На людях - прежде всего, но наедине с собой - тоже. Рем Степанович не вспомнил, что Аня тут, забыл и сам про себя, про свой за собой контроль. Так и ушел, мешковатый вдруг, пришаркивающий.

- Что с ним, что с ним?! - горестно вырвалось у Ани.

- Он двумя жизнями живет, Аня, - сказал Геннадий.

- Замолчи! Ты необъективен! - Она яростно глядела на него. - Выкинь из головы! Выкинь и успокойся! И вообще, кто ты такой?

- Мне уйти?

- Нет! Без тебя еще хуже станет. Но сиди - и не вмешивайся. - Она смягчилась, ушла из глаз холодная голубизна, вернулась густая, живая синева. - Гена, ты славный парень, но ты не можешь понять... Смотри, смотри мультяшки. - Она поднялась, провела, усмиряя, рукой по его голове и пошла из комнаты, сказав еще, как бы одаривая: - Эх ты, заяц...

А он действительно уставился в экран, где заяц снова надул волка.

"Ну, заяц, погоди!" - орал волк, яростно грозя лапой.

21

Фильм кончился. Выплыла на экран знаменитая Валентина Леонтьева, которая когда-то жила в их Последнем переулке, да, да, снимала тут комнату, когда еще только начинала свою работу на телевидении. В их доме и снимала, в квартире напротив. Он ее тут не помнил. Давние времена. Совсем маленьким был. Но что жила здесь, это точно. Это не легенда. В их переулке действительно когда-то жила Валентина Леонтьева. Этим гордились тут, как и гордились Ремом Степановичем Кочергиным. Им еще больше гордились. Он тут родился. Мало ли кто у них комнаты снимал, а он здесь родился. И с переулком родным не порвал. Вон как тут живет-поживает. Да, а что если внять совету и не вмешиваться? А как же тогда с Аней? Позабыть про этот тупик в соснах? Про тот разговор? Самому, что ли, "топить сети" да и мотать отсюда? А она, а что будет с ней? А кто она ему? Такая же вот телезнакомая, как эта Валентина Леонтьева, объявляющая сейчас дальнейшую программу на субботу. Ну, встретились случайно, ну, сходил с ней на рынок. Ну, нравится она ему. Нравится? Не то, конечно, слово, но а какое еще слово подобрать? Какое? Ей-то он без надобности. Совершенно. Окончательно и бесповоротно. Тут безнадега для него полная, смешно даже об этом мысли ворошить. Уходить надо. Встать, пройти через кухню - и в дверь и еще за дверь, а там - улица. И прощай, Анна Лунина! Расплылась, ушла из экрана Валентина Леонтьева. Вот так же расплывется, уйдет из его жизни и актриса Анна Лунина. Геннадий пошел на кухню. Глянул, прощаясь, на книги "про Москву" - сколько их тут было, за целую жизнь не перечитать! - глянул, прощаясь, на картины на стенах и тоже "про Москву". Он уходил из этого дома, прощался с ним. Ему предстояло еще только попрощаться с его обитателями. Ну, это дело не сложное. Кто он им? Кто они ему? "И вообще, кто ты такой?"

А на кухне вот что происходило: мужчины соревновались в изготовлении салатов. Рем Степанович тоже облачился в передник, стоял, обставившись банками в пестрых этикетках, что-то из них выхватывая, что-то вымеряя, убавляя и прибавляя, прежде чем выложить на блюдо. Его салат был замысловат, и замысловатый аромат потянулся от него, незнакомый, острый, пронзительный. А Платон Платонович колдовал над обычными помидорами, над листиками киндзы, петрушки, не забывая и о сковороде с грибами, о своих сковородах с мясом, он работал, как многостаночница-ткачиха, мягко переступая, но руки у него кидались и мелькали. От его салата струйкой шел божественный аромат свежести. Он же заведовал и ароматами жарившихся грибов, варившейся молодой картошки, исходящего соком мяса. Он явно побеждал. Но и Рем Степанович не сдавался. Его салат рос, и густел над ним воздух, и казалось, что все эти пальмы и синие лагуны с этикеток, все эти пучеглазые омары, растопырившие страшно свои клешни, вся эта заморщина обрела свое место на блюде, маленькое там выстроив государство. Под потолком, может быть, эти ароматы и смешивались. Но понизу они жили каждый сам по себе - хочешь, от одного вдохни, хочешь - от другого.

Аня сидела в уголке в кресле и наблюдала. Она рукой поманила Геннадия, приказывая

подойти, сесть рядом. Он подошел, сел рядом, напрочь забыв о своем решении уйти из этого дома. Вот так вот: она - поманила, а он позабыл.

- Меня не допустили, - сказала Аня, любуясь своим Ремом. - Не женское, оказывается, это дело - готовить жратву.

- Если жратву, то, может быть, и женское! - живо подхватил Платон Платонович. - А если обед, салат, настоящую праздничную еду, то это дело сугубо мужское. От века - мужское. Это когда же в настоящих ресторанах работали женщины? Это где же вы видели шефа - даму? В столовке? Извольте, там пожалуйста. Но в ресторане, но в солидном доме - никогда. У цезарей, королей, князей и прочей всякой публики подобного ассортимента всегда служили повара. Да и мужского же рода - повар. А повариха - это нечто подсобное, вторичное, преобразованное. Впрочем, далеко не каждому и мужчине дано познать поварское искусство. Берутся многие, модным стало, чтобы вот такие мужи совета, как наш Рем Степанович, в передничке - гляньте на него, нет, вы только гляньте на этого пижона! - сами мясо жарили, сами салаты компоновали. Но... Жалкая, я вам скажу, картина... И на глаз и на язык... Платон Платонович быстренько подхватил ложечкой с края блюда, на которое выкладывал свои продукты Рем Степанович, по-кроличьи прожевал подхваченное, сморщился и ужаснулся. - Яд! Отрав!

- Не по правилам соревнуетесь, уважаемый, - оттолкнул Платона Платоновича всерьез обидевшийся Кочергин. - Слово за судьями, за жюри, а вы, милейший, ковыряйтесь там у себя со своей мешаниной для второразрядной столовки.

- У меня - для второразрядной?! - завопил Платон Платонович. - Нет, я ухожу! Здесь не ценят искусство! Здесь собирают книги, картины, здесь блеск и шик, но здесь обосновалась грубая душа! Аня, он у вас грубой души человек, поверьте! Он омарами занюхивается, когда рядом благоухает белый гриб! У него обоняние сбито!

- Зато обаяние есть, - сказала Аня.

- Обаяние? - Платон Платонович задумался, пожевал по-кроличьи, будто слово это пережевывая, согласился неохотно: - Да, обаяние еще есть. Стал бы я в это его логово ходить, если б не обаяние. Тут не отнять. Что-то в нем такое-разэдакое, в вашем Реме Степановиче, что тянет к нему. Порода есть, московский, нашенький. Опоздал родиться, конечно. Ему бы в пору расцвета российской буржуазии на ножки встать, он бы и Морозову, фабриканту тому и меценату, мог бы ножку подставить. Собрание картин купцов Третьяковых, кропоткинская коллекция импрессионистов купца Щукина - или не дело? А этот бы, глядишь, кочергинский музей "про Москву" основал бы. И не из украденного, зачем же. На личные капиталы.

- Считаешь, что Щукин свои личные капиталы праведными трудами добывал? - серьезно спросил Кочергин, отходя от стола, снимая, срывая с себя наскучивший передник. - Фу, жарко!

- Крал, конечно. У народа, разумеется, прихватывал. Но узаконено тогда было это воровство. Вот в чем штука. Понадобилась, всего ничего, Октябрьская революция, чтобы кое-что поменять в акцентах. И твои, Рем Степанович, ты уж прости меня, извини старика, твои в твоих там апартаментах картины, они нынче как-то, полагаю, не совсем законными путями добыты. На трудовые такое не укупишь, ты уж прости, извини старика. По запасничкам вы, входимущие, шастаете. За бесценок, по уценочке какой-то несправедливой скупаете. У тебя еще не Третьяковка, куда тебе, но уже что-то такое-этакое, что если глянуть, холст обернув, можно и возвернуть по месту, так сказать, прописки.

- Ну кого пригласил?! Обличитель! - Рем Степанович с широкой улыбкой выслушивал рассуждения Платона Платоновича, приучил себя к такой вот служебно-широкой улыбке, но

глаза, а Геннадий в его глаза поглядел, недобрыми стали, ни единой там не было смешинки, хмурый, стальной там жил цвет.

- Прощеньца просим! - начал кланяться Платон Платонович. А вот у него глазки смеялись, потешались. - Язык мой - враг мой.

- Враг, враг. Не паясничай, Платон. Тошно.

- Да приедут твои данники, вот-вот ввалятся. Не томись. Развеселые, остроумные, добренькие, демократичненькие. Душа, не мужики. Аней восхитятся, меня обласкают, Геннадия приветят. Чу, не мотор ли?!

Все прислушались. Все, следом за Кочергиным, который даже шагнул к окну поспешно. Нет, показалось, тишина угнездилась возле дома.

- А ждать ведь некогда, - сказал Платон Платонович. - Это пускай опоздавшие едят перепревшее, а нам бы уже и к столу пора.

- Что ж, накрывай, Аня! - решительно распорядился Рем Степанович. - Они там едут, а мы тут - едим. Каждому - свое.

- Афоризм! Умница! - возликовал Платон Платонович. - Одни - едут, другие - едят. Надо будет запомнить. Что за человек этот Рем Степанович! Книжки тебе писать! Прозу художественную!

- Сперва нагубили, а теперь подлизываетесь, - сказала Аня.

- И тогда не грубил и сейчас не подлизываюсь. - Платон Платонович сделался серьезным. - Нет, милая красавица, вы меня не поняли. Я на том стою, чтобы всегда правду говорить. Форма подачи - это как блюдо. Важно, что в блюде. Вот сейчас и отведаем. - Он опять принялся шутить да ухмыляться. Моя салатница поскромней, он мне нарочно такую выдал, а у Рема Степановича с завитушками, с разрисовочкой. А на язык? Сейчас, сейчас отведаем!

- Уходите все отсюда, тесно от вас, - сказала Аня. - Стол накрывать женская работа. Не так ли, товарищ шеф-повар?

- В домашних условиях - пожалуй. Но если прием, банкет, если для княжеского, для сановного застолья, тут уж мужская сметка нужна.

- У нас не княжеское застолье. Уходите, не мешайте. - Аня сердилась, тарелки в ее руках начали рискованно позванивать.

- Уходим, уходим. Геннадий, пошли! Глянем на картинку тут на замечательные. Обратил внимание? Я в это логово ради них и прибежал.

Платон Платонович согнул руки в локтях, взаправду побежав из кухни в гостиную. Геннадий пошел за ним. Теперь, пожалуй, духота начинала сгущаться в кухне, где хмурая Аня и хмурый Кочергин, взявшийся помогать ей, звенели драгоценными темно-синими тарелками, тяжелыми вилками и ножами, как-то так звенели, словно переговаривались между собой, и разговор этот был их собственный, не для посторонних.

- Главные картины у него в кабинете, - сказал Платон Платонович. Взойдем не спросясь? - И сам же себе разрешил: - Взойдем. Раз музейные, стало быть, для народа. - Он знал, где надо нажать на кнопку, чтобы отворилась дверь, нажал, и дверь отворилась.

Вошли. Вот она - церковь Святой Троицы в листах.

- Это ведь наша церковь, - сказал Геннадий. - На углу Сретенки стоит.

- Знаю. Жени Куманькова пастель. Отлично пишет парень Москву. В большого художника выписался. А почему? Как думаешь?

- Не знаю.

- Ну, остановила тебя эта картина? "Наша церковь" - сказал. А почему "наша"? Ведь ваша-то совсем не такая нынче. Просто дом, приплюснутый почти плоской зеленой крышей. Какие-то там недавно еще склады были, куполов-то этих нет и в помине.

- Я заметил. Пробежал сегодня, заметил.

- Вот! Заметил! Сперва картина эта тебе в душу запала, потом уж и стал замечать, что на углу твоей Сретенки стоит церковь прекрасная, но только чуть что не убитая. А - почему?

- Что - почему?

- А потому! - Платон Платонович торжественно поднял палец, и вдруг затрясся у него подбородок, как перед слезами. - А потому, что Куманьков Евгений любит! Он то пишет, что сердцем полюбил. Он, смотри, скорбит, он слезы льет в своей картине. И он ей дарит свою мечту, свою надежду. Не реставрирует, не вспоминает - ему и вспомнить нечего, - не срисовывает со старой фотографии, он - мечтает, домысливает, угадывает. А сравни со старой-то фотографией, и выйдет, что он написал точнехонько такую церковь, какой она была. Художник, если он художник, всегда душой перекликнется с истиной. Один другому руку протянет, непременно. Один построил, возвел в семнадцатом веке, а другой, хоть и горела церковь эта в наполеоновском пожаре, хоть и перестраивалась, перекраивалась потом, меняясь хуже чем от пожара, а другой, в двадцатом нашем веке, годика два всего назад, но когда еще реставрация не началась, взял да и написал все так, как было. Угадал сердцем. Вот потому - и художник.

Платон Платонович шел от картины к картине, молитвенно сводя ладони. Вспомнилась Геннадию его тетка, так же вот ходившая от картины к картине на выставке Николая Рериха. Она молилась, и этот молился. Шептали губы Платона Платоновича, загадочные для Геннадия произносятся имена:

- Сомов... Фальк... Юон... Господи, Аристарх Лентулов!.. Смотри, смотри - прибавление есть! Гравюры Захарова, Фаворского... Пименова откуда-то добыл. О господи! Душа извелась! Завидую! Вот этому - завидую!

С порога кухни их позвала Аня:

- Прошу к столу! Музей закрывается на обеденный перерыв!

- Пошли, Гена, - старик взял его под руку. - Пошли, заморим голод духовной пищей телесной. А все-таки откуда это у него, как думаешь? - Этот свой вопрос Платон Платонович задал шепотом.

- Украл? - нетвердо произнес Геннадий.

- Полагаешь?! - обрадовался старик, лукаво сверкнув глазками. Так-таки взял да и украл? Нет, дружок, все не так просто. Краденое утаивают, а у него - на, смотри. Не для всех, конечно, но ведь многие же знают в Москве. Тут что-то не так. Или, может, обнаглел кое-кто сверх всякой меры у нас? А?! Обнаглели - и все! Хапают - и лады! С рук-то сходит, ведь сходит? Как думаешь?

Они вошли в кухню, и Платон Платонович хотел было свести ладони, чтобы тоже помолиться на изобильно заставленный стол, но передумал сводить ладони, храня верность картинам. Он только покивал одобрительно, сказал:

- Сумбур создан художественный, не отнять. А блюда-то у вас перессорились. Это почему? Мир да согласие должны царить на столе. Поступательное, а не наступательное должно тут жить миротворчество. Ко принятию пищи да умиротворимся! Да отринем заботы и тяготы мирские. Господа да возблагодарим за ниспосланное Им!

- Все поучаешь? - сердито глянул на старика Рем Степанович. - Все б тебе шутки шутить, старый! - Он прислушался, не шумит ли мотор за окном. Нет, тишина царила за окном. Тогда Рем Степанович сильно хлопнул ладонью об ладонь, хлопком этим и других и себя призывая к веселью, к застолью. Садимся! Рюмки доверху! Четверо троих не ждут - это точно!

Зашумели, задвигали стульями, сверх меры оживившись. Геннадий даже инициативу проявил, рискнул поухаживать за Аней, стул для нее отодвинул. Но она этих его движений не заметила, она обошла стол и села там, где стоял Рем Степанович. Он сел рядом с ней, наклонился к ней, улыбаясь, зовя к радости. И она отозвалась радостной улыбкой, которая трудно вступила на ее лицо, недолго и держалась. А все-таки - улыбнулась ему. А все-таки включилась в веселье, сама его и сотворять начиная. Схватила бутылку "Столичной" налила себе рюмку доверху, спросила азартно:

- А вам, мужички?! Что это вы там придумали, Платон Платонович, чтобы сперва не пить?! Не по-русски! Семужки на язык захотелось?! Да ваш язычок и от перца не сомлеет. Напротив, перец сомлеет! Тягнули! Ну-ка!

И все тягнули, торопливо налив себе, пили, глядя, как она выпила, а она честно выпила, до дна осушила свою обширную хрустальную рюмку.

- Даже никаких тебе и речей не нужно, - сказал Платон Платонович, когда из таких уст приказ. Так чей же салат лучше, ну-ка, ну-ка!.. - Он положил на синюю в розоватых прекрасных цветах тарелку немного от салата Рема Степановича, немного и от своего салата. Он склонился над тарелкой, стал воздух втягивать, аромат дегустируя. - Так-так-так. - Нос его шевелился, губы изогнулись не без сладострастия.

- Гурман, - сказал Рем Степанович. - Хоть картину пиши - гурман на званом обеде.

- И к тебе на стеночку. Так? Что ж, а теперь отведаем, куда нос повел. Меня, например, мой нос направляет вот к этой салатной горке. Аромат тут слаще. А чья это работа? А некоего Платона Платоновича. Объективно! У него, у носа-то, своя голова есть. Как, впрочем, у иных-других наших частей тела. Это мы только вид делаем, что голова у нас всему голова. А в нас этих голов до дюжины. Руки гребут - своя у них голова. Глаза выбирают - своя головушка. Нос ведет - у него свое разумение. Впрочем... - Он попробовал и салат Рема Степановича. - Впрочем... терпимо. Предлагаю ничью. Кому - русское, кому французское. На одной планете живем.

- Ничья - это что-то вроде неприсоединившихся стран, - сказал Рем Степанович. - Модное движение. Я приветствую ничью! Выпьем, кстати, за мир, а как же нам за него не выпить, за замораживание, за... что там еще? Поехали!

Все выпили, и Аня выпила, но Геннадий заметил, что сейчас она выпила не до дна, обрадовался этому. Она и в застолье этом была поразительно хороша. Сердилась - хорошела. Язвила - хорошела. Печалилась - хорошела. Пила - любо было на нее смотреть. Ела как! Губы у нее были не жадными, не хваткими. Иные женщины не умеют есть, торопливо едят. Эта - умела. Она все умела. Такую, как она, он впервые в жизни увидел.

- Грибки, грибки отведайте, - сказал Платон Платонович. - Я их никогда ни к чему не прибавляю, самостоятельное это блюдо. И какое! А?! Осознаете?! А есть страны, Финляндия, например, где люди обокрали себя, не едят грибов. Затмение вышло на целый народ, на умный народ. А почему?

- Все до сути доискиваешься? - глянул Рем Степанович, но не сердито, финские дела его сейчас не шибко заботили. - Ну-ка, почему? Растолкуй нам.

- До сути - именно. Пищу-то ведь мы разжевываем, достигаем ее сути. А вот живем, часто играя с собой в жмурки. День прожили - и рады. Еще день опять хорошо. А что будет завтра, послезавтра?

- Опять за свое! - сказала Аня. - Вы про финнов же собирались нам объяснить, отчего они там грибы не лопают.

- А потому, красавица вы моя, что в древние времена они очень бедно жили. Земля у них не щедрая, ископаемых никаких. Лес? Так лес тогда везде был, никто его не покупал, не вывозил. Бедность - она не выдумщица. А гриб выдумку требует. Ему масло нужно. Сметанка необходима. Где взять бедному человеку? Вот потому.

- А сушить грибы? Отчего бы им не сушить грибы в своей тогдашней бедности? - спросила Аня.

- Не сообразили, так думаю. - Платон Платонович посмеялся глазками. Бедный человек не смекалист. Вон богатые-то чего только не придумали. Плита с программным устройством, телевизоры с видеокассетами, холодильники, морозильники, есть, говорят, машины, которые и стирают тебе на дому и гладят, и складывают даже рубашки. Мечта! А счастья, его все равно нет. Так что ну их, грибы сушеные, какая от них польза, если и при богатстве счастья нет. Мясо подавать? - Он вскочил, вспомнил о поварских своих обязанностях. Не прислушивайся, Рем, не прикатят теперь уж твои данники. Гость, он не дурак, чтобы к такому обеду опоздать, а ты всем названивал, что я у тебя. Нет, стало быть, раздумали. Подавать?

- Подавай, - сказал Рем Степанович. - Крутёжный ты мужик все-таки, как я погляжу.

- Чтобы еду не приперчить словцом, без этого на Руси нельзя.

- Чуть что, киваете на Русь, - сказала Аня, недобро поджимая губы. И это, как она сердилась, и это красило ее, гневность, разгневанность тоже ее красили. - Надоело, скажу я вам, каждый день выслушивать тирады, какие мы да что нам дано. Особенно тут любят повитийствовать мои собратья-актеры, особенно отчего-то мужички. Мы, бабы, больше на себя рассчитываем, а не на некие там в нас зовы предков.

- А это тоже от предков, от прародительниц ваших! - азартно подхватил Платон Платонович, не забывая и мясо выкладывать на великолепнейшую, тяжеленную, выдолбленную из дуба плоскую ладью с поднятым высоко носом. Откуда, Рем Степанович, все хочу спросить, у тебя это блюдо? Это же из боярского дома утварь. Тут век аж шестнадцатый повеивает. Может, Иван Грозный сюда клинок втыкал, мясо нанизывая. Люблю старину! В почтительный трепет вводит. Да ты не хмурься, что спросил. Ну, спросил - откуда-де. Ответа ведь не будет. Купить такое невозможно, украсть такое тебе не по росту, велик, чтобы таскать. Стал быть, достали. О это наше словцо достали! Или это еще понятие - "нужный человек". Или вот это еще - "все может"! А ничего-то мы не можем, если всё можем! Человек не всемогущ, нет, и уповать на подобное всемогущество дано лишь короткоумному хапуге. Это как с едой. Ешь, но не объирайся. Чуть-чуть да голодным покинь изобильный стол. Чуть-чуть да и не все имей, что восхотела твоя душенька. Тогда ты рыгать не будешь, оупелость тебя не настигнет сытая, тогда ты и не пресытишься и в своих желаниях. - Он стал есть свой кусок, низко склонившись над тарелкой, прислушиваясь, чуть наклоня голову к плечу, к вкусу мяса. - Хороша вырезка! Вам, если без крови, Аня, вот этот вот кусочек нанизывайте. Тебе, Рем, ты с кровью, знаю, любишь, тебе этот кусочек в рот глядит. Наваливайтесь, мясо свой момент имеет. Геннадий, ешь, жуй всеми своими молодецкими зубками, копи силенки.

- Удалось мясо! - похвалил Рем Степанович, молодо впиваясь в мясо крепкими еще зубами.

- Если б меньше разговаривал, цены бы тебе не было, Платон.

- В застолье на Руси - виноват, виноват! - от века речи принято плести. Слово да слово, намек да намек. Где перец, где медок. Еда, если не мыслить, зад полнит, а если мыслить, голову кормит.

- Из пословиц и поговорок затвердили? - спросила Аня. - Тихо спросила, перестала сердиться на старика. Но так ли?

Платона Платоновича насторожил этот тихий голос. Он почел за благо кротко ответить, не задираться:

- Болтаю, простите старика. А как насчет еще по рюмочке?

Все согласно промолчали, и Платон Платонович налил всем, начав с Ани, которой, наливая, добро покивал, мирясь и виноватясь наперед, если что не так сказал или еще скажет-сболтнет.

Выпили.

- Хоть бы кто-нибудь тост придумал, - сказала Аня. - Вот тост - к столу слово.

- Извольте, имею тост! - обрадовался Платон Платонович. - Тем обойдемся, что у каждого на доньшке осталось. - Он поднялся, одернул рубашечку навыпуск, построжал. - Хочу выпить за тишину в нас. Это больше к нам, не шибко молодым, относится - к Рему Степановичу и ко мне. Ко мне в наибольшей степени. Но и вам, молодым, поскольку годы бегут, тоже не худо присоединиться. За тишину в нас! За покой в душе! Бесценное обретение! А что, или не прав?

- Поддерживаю! - поднял рюмку Рем Степанович. - Хотя тост из утопических. Тихие те, кто тихими родился. Они и пребывают в тишине. А я вот и рад бы был, да не умею тихо. Не получается! Поехали! - Он выпил, схватил графин и налил себе доверху и снова выпил. - Вот так! Только водочкой и зальешь пожар! - Смолк, усунулся в свою тарелку, не глядя, тыкая в нее вилкой.

- А все почему? - спросил Платон Платонович, только что благоразумно решивший помалкивать, но характер - он ведь сильнее нас. - А все потому, что живет в тебе, Рем Степанович, согласен, с молодых самых годков этакая во всем несоразмерность. Пояснить?

- Валяй. Хотя и знаю, хорошего не скажешь.

- Хорошее, плохое - как оценить? Все по шерстке - это хорошее?

- Так я же ведь не маленький, меня воспитывать поздно.

- Тут молодые люди сидят.

- Ну, ну, так что это за зверь - несоразмерность?

- Несоразмерность наших возможностей и желаний. Одни мирятся, ибо желания наши всегда опережают наши возможности. Другие из кожи вон, а подавай им тут гармонию. Хочу! Нужно мне! И весь разговор. А это уже вступает новый мотив: это уже мы любой ценой начинаем обретать сию гармонию. Вот, к примеру, я хочу твоего Аристарха Лентулова иметь. Люблю этого художника, обожаю. Ну, хочу! Но купить-то мне не по карману. За десять лет не наработаю на такую покупку. Так что же, взломать твои двери стальные и украсть?

- Не сумеешь. Стальные.

- Они и в других местах стальные, Рем. А картинка, меж тем, на стене в твоём кабинете.
- Не домысливай, я ее не украл. Я ее купил. Ты не наработал, а я вот наработал.
- Так ли? Достал, правильнее будет сказать. Ну, что-то там заплатил, не отрицаю, не даром. Но - задешево. Это и есть - достал. Тут-то я прав?
- Допустим.
- Ты достал тому, тот достал тебе. Так?
- Допустим.
- Вот и обретенная гармония. Вот и поправление несоразмерности. А между тем несоразмерность наших желаний и возможностей неизбежна.
- Вывел новый закон.
- Неизбежна! Как бы ты ни был взыскан и взласкан. В нашем обществе неизбежна. А иначе одним - все, а другим - ничего. Так зачем же тогда было сыр-бор затевать? Так бы и жили, одни - в дворцах, другие - в бараках.
- Так, так! - повеселел Рем Степанович. - Занялись политграмотой!
- Это не политграмота, Рем, это - зависть, - тихонько молвила Аня. Одному Лентулова захотелось страсть как, другому - вон глаза таращит - еще чего-то. Зависть! - Голос ее вдруг вытончился, сам не своим стал. Она вскочила вдруг, протянула руку: - Уходите! Убирайтесь оба! Зачем вы пришли?! Чтобы терзать его душу?! Уходите! Видеть вас больше не могу!
- Аня, Аня! - позвал Рем Степанович. Не было укора в его голосе, заискрились у него глаза, он залюбовался ею.

Она стояла вытянувшись, гневная справедливым гневом, она защищала, обвиняла. Ее рука указывала на дверь тем, кто пришел сюда, тая недоброе, а это хуже зависти. Она не играла сейчас, это была не сцена (какая же тут сцена?), но навык и тут правил ее движениями и голосом.

- Я жду! Уходите!

Первым вскочил Геннадий, кинулся к двери. Но дверь была защелкнута на все хитрые замки, и он не сумел их разгадать, завозился, хватаясь то за один кругляк, то за другой.

А Платон Платонович медлил. Он еще рассчитывал на мир. Он знал цену этим женским выплескам гнева. Вот уже и слезы у нее встали в глазах, еще миг - и разрыдается. А там уж и слова потекут, как слезы, что ее не поняли, что она "устала-устала", а там и застолье опять продлится.

Но Геннадия было не повернуть назад. Он рвал дверь, молодое, сильное, яростное сейчас вшибая в дверь тело. Он бы расшибся об эту дверь, если б ее не отворили.

- Да погоди ты, - подошел Рем Степанович. - Сейчас открою.

Защелкали замки, дверь распахнулась, выпуская Геннадия. Он вырвался на свободу.

Аня смотрела, как он вырвался. Ее гнев помельче был, чем его. Она сникла, заплакала. Вот и потекли слезы. Но было уже поздно. Платон Платонович не мог не последовать за Геннадием.

- Простите, если что не так... - Он тоже поднялся и пошел к двери.

В сенях, из которых тоже не выпускали замки, их настиг Рем Степанович. Не стал удерживать, уговаривать. Но прежде чем отомкнуть замки, он протянул Платону Платоновичу - успел прихватить! - громадную грушу, ту самую беру, которой так восхитился старик.

- Возьми, Платон. Тут несоразмерность твоя наверняка обретет гармонию. Не сердись, ты же умный. Бери!

Платон Платонович принял этот дар, затрясся у него подбородок к слезам, он ткнулся головой в плечо Рема Степановича, бормотнул глухо:

- Поберегись... Москва гудит... слухами...

- Знаю. - Дверь отпахнулась, но Рем Степанович за руку придержал метнувшегося в дверь Геннадия, другой рукой выхватывая из кармана две хрусткие сотни. - Обида обидой, хотя на женщину стоит ли обижаться, но уговор же у нас был... - Он широко улыбнулся, все свое обаяние вложив в улыбку, - сильный, добрый мужик, умные глаза.

- Нет! - яростно мотнул головой Геннадий. - Не нужны мне ваши деньги!

- Как знаешь... - Погасла у Кочергина улыбка. - Ты вот что, ты к Белкину не ходи, если так...

Геннадий уже сбегал со ступенек, отозвался, сбегая, выкриком:

- И не подумаю!

Выскочив за дверь, чуть лбом не налетев на ствол тополя, Геннадий приостановился, оглянулся, ожидая Платона Платоновича. Ему важно было убедиться, что тот с ним, не повернул назад, не смалодушничал, как смалодушничал, приняв грушу.

Старик появился в дверях. С грушей в руке. Печальный, поникший.

Он подошел к Геннадию.

- Худо в этом доме, - сказал негромко. - Понял?

- Понял! А зачем тогда у него грушу взяли?!

- Вот потому и взял. Прощай, Геннадий, счастливый несчастливец. Не поминай лихом. - Он побрел, взбираясь в горку, шибко, ходко пошел, неся свою царственную грушу в отведенной почтительно руке.

22

Родной дом встретил его все той же машинописной трескотней. Без выходных работала его Вера Андреевна. Была бы работа. Он еще шел по коридору, а машинка уже начала с ним разговаривать: "А, явился?.. Где целый день пропадал? Ведь сил никаких нет все ждать да ждать!" Геннадий вошел в комнату, тетка обернулась, сказала с облегчением, но и с досадой:

- А, явился? Где целый день пропадал? Ведь сил никаких нет все ждать да ждать! - Она еще добавила: - Обедать будешь?

Он подошел к ней, наклонился, поцеловал в краешек штопаной кофточки ей всегда холодно

было, - который касался ее худенькой шеи.

- Прости, тетя.

- А водкой-то как разит! - Она оттолкнула его. - Ясно, обедать не будешь! О, этот Рем Степанович! И что за дружба вдруг?! Клавдия Дмитриевна снова принесла весть, что ты у него. И какая-то прекрасная дама! Геннадий, я боюсь за тебя!

- В хоккей играл - боялась. Так там хоть клюшками били. А тут-то чего?

- Сам знаешь чего. Соблазны! Кстати, тебе несколько раз звонила Зина.

- Какая Зина?

- Смотрите на него, он уже не знает никакой Зины.

- А у меня их целых две. Вот и спрашиваю, какая из них.

- Нет, вы смотрите на него! За тобой подобного что-то не упомяну. Вот оно, дурное влияние. Не знаю, какая еще там вторая, а звонила та, где ты частенько проводишь свой досуг. Ты знаешь, я не одобряю эту связь, но лучше уж у нее... - Вера Андреевна прислушалась: - Вот, опять звонок. Беги, откликайся. Уж лучше она...

Геннадий вышел в коридор, где висел стародавний, к стене пристроенный аппарат.

Телефон звонил и звонил, хрипло, старческим голосом взывая, а Геннадий не снимал трубку, не решаясь на разговор, не умея понять, какой еще возможен между ними разговор, если это действительно звонила Зина, не та, что встретила его в переулке сегодня, с которой он вчера только познакомился, эта забавная девчушка в "бананах" на вырост, а та, которая вчера не пустила его к себе, поскольку...

Он снял трубку, порыжелую, стародавнюю, прабабушку той трубочки, что угнездилась в углу дивана в хитром домике Кочергина.

- Слушаю?..

- Гена, Геночка! - забился в трубке голос Зины, той, что не впустила его вчера. - Родненький! Прости меня! Поверь, у нас с ним ничего не было! Поверь! Ты как раз постучался, и я опомнилась! Поверь! Верить?!

- Нет, - сказал Геннадий. - Все вы одинаковые.

- А как же наша любовь? - поник голос женщины. - Ведь я люблю тебя. Ты мне не веришь?

- Нет, не верю.

- Послушай, только не вешай трубку! Нам надо встретиться.

- Зачем?

- Надо уметь прощать, Геннадий! - назидательно сказала женщина. - Если, конечно, любишь...

Он повесил трубку. Он повторил вслух, ужимая губы, вспоминая злое Анино лицо, прекрасное ее лицо: "Если, конечно, любишь..."

"Гена, выходи!" - донесся до него голос с улицы. Сквозь толстенные стены, а все же проник сюда этот зов дружбы. Уже взрослые парни, да и телефоны у всех есть, а все, как встарь, как

школяры, кричат из переулка друг дружке: "Гена, выходи!", "Славик, мы во дворе!" Взрослеют, кто уж и лысеть начинает, женатые, у кого уж и детишки пошли, а все равно - кричат, вызывают друг друга для дружеской беседы, на кружечку пивка или еще там на что, называя в разговоре друг друга лишь по имени, а то и по кличке от детской поры. Так, в пареньках пребывая, и достигают глубокой старости, оставаясь Димами, Славиками, Колюнями. Корешки дорогие!

Геннадий кинулся в комнату, крикнул тетке:

- Ребята зовут! - И бегом за дверь, бегом по лестнице, перепрыгивая через десяток полеглых ступеней, бегом к друзьям.

Но посреди переулка напротив его дома стояла лишь Зина, не та, что только что звонила, а эта вот, маленькая Зина в своих "бананах" на вырост. А ей что от него нужно? Геннадий подошел, притормаживая свой разгон, ту радость в себе, с какой скатился по лестнице.

- А где ребята?! Кто меня звал?

- Ребята в пивбар ушли, - сказала Зина. - Это я попросила тебя позвать.

- Зачем?

- Поговорить надо.

- О чем? - Он смотрел туда, в конец переулка, где тропа взбиралась в Головин и где был пивбар, улей этот гомонливый, куда и его тоже потянуло.

- Постой, - сказала Зина. - Еще есть человек.

Этот еще человек отделился от стены и оказался Клавдией Дмитриевной со своим Пьером на плече.

- И вы тут?! - изумился Геннадий. - А я вас не заметил.

- Зато я тебя заметила, - сказала старушка, обращаясь больше к Зине, чем к нему. - Идет, несет, согнулся до земли. - Она явно осуждала Геннадия. - Ему бы фуражечку беленькую, фартучек. Младший приказчик при лавке, да и только. У меня аж сердце ретивое забилося. Крутила я когда-то романчик с таким вот приказчиком. О, мон Дье, как давно это было!

Попугай встрепенулся, приподнял тяжкие веки, хотел что-то сказать, но раздумал - давние времена.

- А все-таки, - сказала старушка, сохлым пальчиком помахав в воздухе, а все-таки, Геннадий, не слишком ли ты много времени проводишь с этим Кочергиным? Ишь, как он впряг-то тебя! Умелый! Обходительный! Они - такие. Вчера целый день, сегодня целый день. Хоть в набат бей.

- И что у вас общего? - сказала Зина. - Я работаю в торговле и знаю... Только об этом у нас в магазине и разговор. Этот директор гастронома сел, и этот еще сел, и этот, и этот. А гастрономы - ой-ой-ой какие! А кто над ними начальник? Не Рем ли твой Степанович?

- А я тебе, Геннадий, не чужая, - сказала старушка. - Ты здесь родился, ты мне и Пьеру как родной.

- В каком это ты магазине работаешь? - спросил Геннадий. - Во фруктовом?

- Почему во фруктовом? В обувном. Вон в том, главном на Сретенке. Магазин "Обувь", весь

первый этаж занимает в доме между Даевым и Селиверстовым переулками. Ты почему подумал, что во фруктовом?

- Да в "бананах" ходишь.

- Глупо! Если сострил, так очень глупо! Изволь, а ты стал актером, потому что таскаешь корзинки за актрисой. Смешно, да?

- Не обижайся, чего ты?

- Я не обижаюсь, на глупость не обижаются. Ну, глупи! Мне-то что, глупи!

- Да, мой друг, - вмешалась старушка, - а где же мой подарок, этот замечательный картон с актрисами? Передумал дарить?

- Не передумал. Сейчас прямо и вручу. - Геннадий сорвался и побежал к дому. Верно, как это он забыл?! Ее фотография все еще у него в комнате! Скорей, скорей долой ее оттуда!

Пока поднимался в лифте, в прозрачном, прилепленном к стене дома, за пыльными стеклами и раз и другой мелькнул домик Кочергина. А она, живая, не на фотографии, а живая, а она - там. Совсем рядом, наискосок только перейти через узкий их переулок.

Он быстро вернулся, таща картон. К счастью, тетушка ни о чем не стала спрашивать, останавливать. Она сидела перед небольшим экраном телевизора, смотрела какой-то фильм с Людмилой Гурченко. Это была самая любимая ее актриса, хотя и Анну Лунину она тоже хвалила. Но Гурченко была всех любимее. Что ж, тоже правдивая актриса. Только... А она, а Аня Лунина была совсем рядом. И еще звучали в ушах обжигающие слова: "Убирайтесь! Оба!"

Он вынес картон, заведя его на спину, чтобы не встречаться глазами с этими счастливыми, у которых одна забота была в лицах, как бы поестественней всем продемонстрировать свою пригожесть. Мол, они и не думают позировать перед объективом, а что такие красивые, такие прибранные, такие нарядные, все в фирменном в чем-то, так они всегда такие, как и всегда у них такие счастливые-рассчастливые улыбки. Аня там, вон там, через дорогу, так же сейчас улыбается беспечально, как на этой цветной фотографии?

Он протянул картон старушке, поняв, протягивая, что ей эту тяжесть не унести. Предложил:

- Давайте я отнесу вам это собрание лиц домой.

- Сделай милость. Какие славные! Изоврались все, но славные. - Старушка едко всматривалась в фотографии, в нынешних этих красоток, которые, так она явно считала, только тем и отличались от нее, что были из сегодня, а она была из вчера.

- Миленькие, миленькие, - окончательный вынесла она приговор. - Моды, между прочим, возвращаются. Вот, гляньте, пошли опять рюшечки, буфики, бантики. Мы, правда, так не красились. Причуда - эта мода, молодые люди. Поверьте ли, было время, еще до меня задолго, когда считалось неприличным женщинам хорошего круга выйти на улицу, не укрыв лицо толстым слоем белил и румян. Как в масках ходили. И, напротив, девки из питейных мест, те совсем не размалевывались. Все кувырком! Пойдем, Геннадий?

- Ой, так вот же она - Анна Лунина! - сказала Зина. - В самом центре! Гена, и ты этот картон вышвыриваешь из дома?

- Не вышвыривает, а дарит даме, - несколько обиделась Клавдия Дмитриевна.

- Он избавляется от него! Геннадий, тебе опять досталось?!

- Ну что вцепилась? Ну зачем мне фотография, когда я оригинал целых два дня разглядываю?

- Досталось. Бедный. Клавдия Дмитриевна, можно я тоже с вами пойду? Зина помолила старуху глазами.

- А я и не сомневаюсь, что ты пойдешь, милочка.

Клавдия Дмитриевна жила в том же доме, в зеленом этом доме с завитушками, в котором жила и та Зина, вчерашняя та Зина. А сегодня он шел в этот дом, сопровождаемый новой Зиной. Помереть можно было со смеху! Зина на Зину. Действительно смешно. И та не нужна и эта ни к чему. "Надо уметь прощать, Геннадий... Если, конечно, любишь..." Прощать предательство? Может, и надо, если, конечно, любишь...

Они вошли в высокую арку, как-то странно примостившуюся сбоку в этом доме, не позаботились строители о симметрии. Арка вводила во двор. Той Зины парадное было справа, а старушка повела к входу в глубине двора. Зеленый по фасаду, дом вступал во двор серыми в частых окнах стенами, образовывавшими длинную букву "П". И все - окна, окна, комнатенки, комнатенки. То самое место, от которого когда-то и получил Мясной переулок новое прозвище Последний. Впрочем, есть и иная легенда про то, отчего их переулок получил такое название. Когда горела Москва, все тут сгорело, пустырь возник. И вот этот переулок и был из наново застраивавшихся последним перед Сухаревкой. И все-таки, а все-таки - эти окна, окна, комнатушки, комнатушки - они про тайное, про хмурое, про стыдное напоминали, про самое последнее, когда любовь продается, когда любовь покупается.

В арку, если оглянуться, виден был край дома Кочергина, а тополь почти все загородил, но край, угол дома все же был виден. Геннадий оглянулся. Что там у них? Может, все-таки Аня ушла, уехала домой? Нет, она сказала матери по телефону, что заночует у подружки. Изолгалась! Но плохо ей, плохо потому и выгнала их. Худо ей там! "На женщину стоит ли обижаться?" - спросил Кочергин. Он все знает, все понимает, а сам запутался.

- Ты что все оглядываешься? - спросила Зина.

- Между прочим, та Зина, которая меня вчера намахала, живет в этом доме, - сказал Геннадий.

- Но ты не на этот дом оглядываешься, а вон на тот.

- Между прочим, она только что мне позвонила, просила прощения. Ты бы простила, если б тебе изменили?

- Никогда!

- Вот и я повесил трубку.

- Хотя я не знаю, - задумалась Зина. - Я ведь никогда не любила по-настоящему. В школе... Это была детская любовь. Не знаю, если очень любить, можно и многое простить. Я так думаю. А ты?

- Не знаю. - Он в последний раз оглянулся, входя в подъезд, где жила старуха. - Спроси у Клавдии Дмитриевны, а еще лучше у Пьера. Они всё знают.

- Ты бы лучше у них спросил, зачем ты оглядываешься.

Клавдия Дмитриевна жила в первом этаже. Ее дверь была в стене еще до ступеней очень осевшей лестницы с очень истертыми, но мраморными ступенями, - сразу, как вошли, и ее дверь по левую руку.

- Я низко к земле живу, - сказала старуха. - Зато у меня отдельный вход.

Дверь была невероятно обшарпана. Все тут было невероятно обшарпанным. Ремонтировали здесь, стало быть, одни только фасады.

- Нас скоро сносить будут, зачем же нам ремонт? - спросила Клавдия Дмитриевна, перехватив сочувственный Зинин взгляд. - Но я боюсь этого мига. Переселение начнется. А зачем мне новая квартира, хоть мне и сулят совсем новую квартиру? Мы с Пьером привыкли тут. У нас тут совсем неплохо. Убедитесь. А переселят - и мы порем. Стариков нельзя передвигать. Милости прошу, входите.

Клавдия Дмитриевна добыла из кармана один-единственный ключ, повернула им разок всего в какой-то дыре в двери, и дверь сама пошла, скрипя, кряхтя, зависая слегка на петлях, сама отворилась. Можно было и не замыкать ее на этот ключ, ничего не стоило, лишь толкнув посильней, отворить эту дряхлую преграду.

Вошли во тьму, вступили в запахи не противные, но чуждавшие, странные. Пахло незнакомо, таких запахов просто не существовало нигде в том мире, в котором жили Геннадий и Зина. Не пылью, не старьем пахло, а если и пылью и старьем, то уж очень они тут были древними. Пахло древностью. И пахло еще как в зоомагазине, этот запах был знаком все-таки, пахло обиталищем старой птицы, со своими причудами, со своей едой-питьем, чуть было не подумалось, что и со своей дымящейся трубкой у клюва.

Клавдия Дмитриевна затеплила лампочку под потолком в тесной, затесненной невероятно дубьем шкафов прихожей. Лампочка засветилась как-то не сразу вдруг, она вот именно затеплилась, а потом уж стала светить. И лампочка была древней формы, как груша, убереглась, не сгасла от времен почти доисторических, из раннего детства Геннадия глянула. Такие лампочки, выкинутые на помойку, ребята отыскивали, чтобы потом швырнуть обо что-то твердое, о стену из кирпича, а в ответ раздавался настоящий взрыв. Нынешние лампочки, маленькие, красивенькие, не разрываются так, они легонько лопаются. Зато и перегорают, не послужив почти людям.

- Прошу, молодые люди, прошу. Не ушибитесь только об углы. - Старуха повела их через узкий проход между шкафами, еще одну отворила дверь, едва толкнув, она была не заперта. Оттуда, из комнаты, грянул дневной закатный свет. Коричневые, новенькие лучи. Сегодняшние.

Они вошли в комнату. Она оказалась большой, потолок был высоким, хотя квартирка двумя окнами прилегла почти к земле. Здесь все было старьем, слагалось из каких-то цветных лоскутов, развешанных по стенам, наброшенных на ужасающе провалившийся, бугрящийся диван, на узенькую коечку, по виду совсем солдатскую, прибранную, с чистым солдатским серым одеялом, с чистыми подушками горкой. Эта полоска серая, но чистая, была тут от жизни, а все прочее будто из вымершего. Нет, еще вот большая клетка, нарядная, дорогая, с бронзовыми креплениями - она тоже обжитой имела вид, хотя и стариной от нее веяло, но прочная была вещь, красивая, хоть в музей выставляй. Пьер слетел с плеча Клавдии Дмитриевны и, явно гордясь и похваляясь своими хоромами, сел на клетку. А вообще-то он тут повсюду жил, везде были следы его когтистых лапок, царапины от его поклевов. Он и ел-пил везде. Тут стояла чашечка, там виднелась плошечка.

А еще были на стенах фотографии. Во множестве. В разных причудливых рамках. Иная фотография совсем крошечная, а рама громадная, нарядная. И не было стариков и старух на фотографиях, одни только молодые лица. Улыбки были скромны, но молоды. Мужчины топорщили усики. Дамы, совсем молоденькие, в больших шляпках или простоволосые, но тогда с высокими прическами, были приветливы, простодушны, но и кокетничали явно, что-то такое изображая непременно - то ли невинность свою демонстрируя, то ли суля нечто

сладостное, сокрытое за потупленным взором.

Картон с нынешними красавицами и красавцами внезапно очень к месту тут пришелся. Как приставил его Геннадий к стенке, так он тут и зажил, заискрился улыбками, место сразу нашлось. Конечно, совсем не те лица, и ужимок никаких в них не видно, все не то, не так, все естественно, мило-просто. А все-таки, а что-то и друг другу зов подает. Из бывшего - в сегодня, из сегодня - в былое. Ничто так не дается переменам, как человек. Смотришь на иную фотографию сегодняшнего парня, а он - надень на него кафтан да шапочку надвинь с бархатным верхом кульком, - а он, гляди, из опричной свиты самого Ивана Грозного, или, если поближе, если фуражечку надвинуть, он - гимназистик, студентик. Лица все в родстве, лицами стережет человек память о своих корнях, творит слепок родства.

Происхождение... Мы стали забывать про это анкетное понятие. Если про анкетное, то и правильно. Но происхождение - не пустое дело. И суть не в том, кто ты по анкете, хотя, конечно, если из трудового народа, то уже и сразу суть нашлась. Да, суть именно в том, каких ты корней, какого труда был твой отец, твой дед, твой, если запомнили в семье, и прадед. Суть - в корнях. А корни - они в почву входят. Суть в той почве, на которой вырос. Сорт твой человеческий - вот что важно. Говорят, нечего кивать на пережитки. Верно, зачем на пережитки все валить? Зряшное это дело. Не о пережитках прошлого, а о сбереженности из прошлого следует подумать, о сортности человека.

- Чайком вас могу попоить, молодые люди, - не совсем напористо предложила Клавдия Дмитриевна. - Хотя заедок каких-то там особых у меня нет. Тебя-то там небось, - она кивнула на окна, - разносолами угощали. Видела я ту корзинку, которую ты волок. Ох, Зина, какие же из нее фрукты высывались! После, когда прошли он да она, эта Лунина, вот эта вот на картоне в центре, аромат в нашем переулке еще долго жил. Как встарь в Елисейском. Теперь там так не пахнет. Если желаешь вдохнуть аромат, теперь не в магазин иди, а на рынок. Там он ухоронился.

Геннадий подошел к одному из окон, поглядел, но только сохлые стебли от высаженных под окном цветков увидел да верхушку арки, да узкую полоску, полумесяцем, к сумеркам уже темнеющего неба.

- Спасибо, Клавдия Дмитриевна, - сказал он. - Меня ребята пиво звали пить. Может, присоединитесь?

- Спасибо и тебе, добрая душа. Нет, мы с Пьером по вечерам в бар заглядывать не рискуем. А ты иди, там хоть грязно, но чисто.

- Эти фотографии, эти люди на них, они здесь жили? - спросила Зина, продвигаясь вдоль стен, всматриваясь в лица из прошлого. - Их переодеть, этих женщин, в наше, причесать по-нашему, совсем бы нами стали.

- Кто тут жил, а кто, как вот на этом картоне, был тогда знаменит, сюда они не заглядывали, - сказала Клавдия Дмитриевна. - Залетные фото, уж не помню, как они ко мне залетели. Может, собирала тоже. Не помню. И кто да кто - не помню. Все почти забыла. Детство помню. Еще обиды помню. А вот счастливые дни, были ведь такие, их не помню. Странно, правда?

- Как же так? - не поверила Зина. - Только счастливые дни и должны запоминаться. А обиды как раз и надо забывать.

- А вот так, - сказала старуха, устало присаживаясь на краешек своего продавленного, скриплого дивана. - Должны, а забылись, не надо, а запомнились. Ты еще молоденькая, вот в тебе "надо" да "должны" и живут. И обиды ты легко забываешь. Да какие у тебя обиды? А старость - злопамятна. Старуха помолчала, поскрипела диваном, который всякое ее движение метил звуком, похоже, что и дыхание ее озвучивал. - Но... погоди... Вот он тебя

обидит, не дай бог, - она сохлым пальцем указала на Геннадия, - а ты, старушкой став, про это и вспомнишь. Не сейчас, потом - через много лет.

- Он меня не обидит. Нужен он мне!

- Это уж вы там сами разберетесь, кто кому нужен. Конечно, обидно, когда молодой человек на тебя не смотрит, а все в окна поглядывает. Он тебя обижает, его там обидели. Не сердись на него, ему, гляжу, тяжелей.

- Вы о чем? - спросил Геннадий, снова наклонившись у окна. - Ну я пошел, ребята ждут.

- Мы пошли, Клавдия Дмитриевна, - сказала Зина. - У вас очень интересно. А среди этих фотографий никого из Кочергиных, случайно, нет?

- Нет! - вдруг яростно распрямилась старуха, и яростно следом скрипнул, взвизгнул диван. - И быть не может! С какой это радости?! - Она поднялась поспешно, Пьер замахал крыльями, встревоженный ее голосом, ее порывистыми движениями. Он снялся с клетки, метко перелетел через комнату прямо к старухе на плечо. Вдвоем они проводили своих молодых гостей. Ветхая дверь сама собой затворилась, когда Геннадий и Зина шагнули за порог. Устала старость от молодых голосов, от их вопросов. Всего не объяснишь. Надо жизнь прожить - она объяснит, только она.

23

Совсем темно стало в Последнем переулке, лишь телевизионной синевой мерцали окна. А в том домике, за экранами, и этого мерцания не было.

- Какой-то из Кочергиных ее крепко обидел, - сказала Зина. - Ты проводишь меня? Ну гляди, гляди, оборачивайся. Там что же, окна всегда занавешены?

- Там экраны отгораживают окна, чтобы наш переулочек в глаза не лез.

- Если ему так плох ваш переулочек, зачем же он тут поселился?

- Родился тут как-никак. Тянет. Раньше тут его мать жила.

- Загадочный он у тебя.

- Это так, это уж точно. Почему - у меня? Всё у меня с ним.

- Рада. А с ней?

- Тем более. Кто я для нее?

- Другой вопрос. Важно, кто она для тебя.

- Никто!

- Не ври, Гена. Та Зина - никто, а эта Аня - о, тут все сложно.

- Тебе-то какое дело? Откуда ты взялась?

- Из Даева переулка. Туда и идем.

- Тут и ста шагов не осталось. Простимся?

- Нет уж, не вздумай меня обижать. А то вот вспомню через пятьдесят лет.

Он усмехнулся, положил на ее вздрогнувшее плечо руку.

- А если провожу, забудешь?

Она повела плечом, скинула его руку.

- Тут старушка что-то путает. Хорошее не забывается. Уверена.

Они пересекли Сретенку, как водится в сих местах, в явно не положенном месте - отчего-то через Сретенку никто не переходит по пешеходным дорожкам: здесь, видно, тропы пешеходные от века пролегли, пусть хоть и скрыты теперь асфальтом, все равно москвичи по ним ходят, по укоренившимся в памяти, от поколений памяти. Москвичи, урожденные, своенравный народ и консервативный в чем-то. Древний город - он у нас в крови, в повадках. Мы - такие, а не такие. И от века все, от века. А какие? Разбери-пойми. Восемь столетий в крови. Любой мальчуган московский, он не без роду и племени. Как говаривали встарь: "От головы до пяток у москвича особый отпечаток".

Вошли в подъезд. Геннадий сунулся было поцеловать Зину. Так, без охоты, полагается вроде. Да и нравился он ей, он это понял.

Она оттолкнула его, сказала гневно:

- Не целуй меня! Не смей!

- А я и не навязываюсь.

Тогда она сама к нему вдруг приникла, поцеловала, неумело уткнувшись в край его губ. Пойми их, одинаковых!..

А потом взяла крепко за руку и повела. Так решительно, что он не стал упираться.

Поднялись по широкой с мраморными ступенями лестнице, где еще бронзовые светильники сохранились, стояли погасшими факелами на лестничных маршах. Для богатых некогда был дом. Но теперь на дверях квартир, двухстворчатых, массивных, с медными витыми ручками, столько было поналеплено всяких уведомлений, кому сколько раз надо звонить, так эти двери были испятнаны от былых почтовых ящиков, от без числа небрежных ремонтов, что хоть изучай по ним все великое переселение народов, начиная от семнадцатого великого года. Господа съезжали отсюда, исчезали, люд из барачков, из подвалов въезжал сюда, возникал.

Зина отворила дверь, приказала:

- Входи!

Он покорился, вошел.

Широченный коридор сонно встретил их, тускло светила лампочка у столика, над которым висел такой же стародавний телефон, как и у него в квартире.

Поздно возвращаясь домой, Геннадий по своему коридору шел на цыпочках. Он и тут было так пошел. Но Зина не таилась, она будто нарочно пошла, постукивая каблучками, и он тоже перешел на обычный свой шаг. Она не таилась, она сказала, не унижая себя шепотом:

- Входи, Геннадий.

В ее комнате, в маленькой, выгороженной, конечно же, с одним большим окном и с высоченным потолком, все сразу, когда зажгла Зина свет, сказала Геннадию, что это ее комната, Зины вот этой, маленькой, решительной, правдолюбивой, чуть-чуть забавной в своих "бананах" на вырост, трогательной.

Прибранная комнатка, узкая, но высокая. Светлые занавески, белым покрывалом укрытая узкая тахта, белая скатерка на маленьком столике, белые, невыкрашенные доски книжных полок. Книг было не очень много, потрепанные корешки, из детства приятели. Из детства и угол с куклами уцелел. Были и замызганные куклы, самые первые, были нарядные, совсем еще из недавней поры.

- У тебя тут прямо общежитие, - сказал Геннадий. - И сейчас в куклы играешь? - Он наклонился над этими красавицами, лежащими с полуоткрытыми густыми ресницами глазами.

- Иногда, - сказала Зина. - Садись, сейчас я чай вскипячу. И ничего не бойся. У папы с мамой своя комната. Они не войдут, не бойся. Я уже не маленькая.

- А я и не боюсь.

- Я сейчас. - Зина ушла, решительно отворив дверь, решительно затворив.

Геннадий присел на корточки возле кукол, стал их рассматривать, как мог бы и книжку почитать, дожидаясь этого чая. Зачем ему этот чай? Как он здесь оказался? Взяла за руку и повела. Вот так девчушка!

А куклы, они ему про всю ее жизнь принялись рассказывать. Хоть и недолгая у нее была жизнь, а все-таки есть про что рассказать. Эта, самая первая, сшитая из тряпочек, с замытым личиком, смешно похожим на лицо хозяйки, тут была на почетном месте, на шелковой подушке возлежала, даром что истрепанная, тряпичная. Эта вот, самая нарядная, чей-нибудь щедрый подарок, недавний подарок, юбка мини, эта кукла, дамочка с высокой прической, с надутыми щеками, еще тут в доверие не вошла. Нарядная, красивая, а место у нее самое боковое, еще не полюбили ее здесь, не стала подругой этим, остальным, которые год за годом рядышком шли с Зиной, в детский сад с ней ходили, потом в школу, потом на курсы какие-то, потом в магазин "Обувь" на работу пошли. Все ясно. Год за годом - вся тут ее жизнь. Старых друзей не покидает, это уж ясно. И они ей верны, надежный человек. Но заслужить ее доверие, ее любовь не так уж легко. Щеки тут надувать не следует, длинные ресницы тут не помогут.

Вернулась Зина, внесла поднос с чайником, с чашками, ну, конечно же, и с банкой варенья. Такое же, что и у его тетушки, малиновое?

- Малиновое? - спросил Геннадий.

- Земляничное. Сама собирала. А ты любишь малиновое? - Она успела переодеться, была в домашнем коротком платьице, много раз стиранном, таком же, как на одной из ее кукол, из давних ее подруг. И так же туго перепоясана была зеленым поясом, как и кукла эта.

Геннадий взял эту куклу, подкинул на руке, сравнивая.

- А вы похожи.

- Это самая любимая. Когда я это платье шила, я и ей тоже из оставшегося куска сшила.

- Ребенок ты еще, Зина.

- Думаешь? - Она поставила на стол поднос, расставила чашки, налила ему и себе чай. - Присаживайся к столу. Может, ты есть хочешь? Принести что-нибудь?

- Спасибо, ничего не нужно. - Он сел за стол, взял свою чашку.

- Может, ты выпить хочешь? У отца наверняка есть.

- Спасибо, не хочу.

- Нет, я не маленькая, - сказала Зина. Она обогнула стол и села рядом с Геннадием. И когда садилась, плечо ее коснулось его плеча, а в глаза ему ударило недавнее - Аня и Рем Степанович рядом, их плечи рядом, вот как сейчас. Но не так, нет, не так, как сейчас.

Она притихла возле него. Руки у нее легли на скатерть, руки у нее дрожали. Она заметила это, вдавила ладони в стол.

- Мне бы только не влюбиться в тебя, - сказала она тихо. - Тебя уже украли. Зачем мне украденный?

Там, в том доме, что там сейчас, что они там сейчас творят друг с другом? Опять эти простыни расстелили? Измяли?

Он хлебнул из чашки, обжегся чаем, обжигаясь и от этих мыслей еще хуже, чем от кипятка.

- Пойду я! - Он поднялся. Не поднялся, подбросили его эти мысли.

- Иди...

Он пошел к двери, а она продолжала сидеть за столом, прижимая к скатерти руки.

- Проводи меня. - Он оглянулся от двери.

В узкой этой и высокой комнате, в том углу, где жили куклы, была прикреплена к стене одна-единственная здесь фотография. Человек с фотографии смотрел хмуровато, не совсем прямо на тебя, но все же прямо на тебя. Был этот человек в отличном костюме, при жилете даже. Вольно сидел, заведя палец правой руки за край жилета. И смотрел, смотрел, прочитывая тебя хмуроватыми, но не злыми, но и не добрыми, а - умными глазами. Это был Маяковский. Но странно, взглянув на фотографию, узнав Маяковского, Геннадий вспомнил Рема Степановича, сошлись, сдвинулись эти два лица для него. Потому что и тот в таком же вот нарядном костюме расхаживал? Потому что и он мог бы так же вольно усесться? Нет, у них лица совпали. Совсем разные люди, совсем разные у них лица, никакого нет сходства, а они совпали. В чем? Почему? Сильные лица - поэтому? В своей силе совпали? Этого понять Геннадий не мог. Да и времени у него не было, чтобы всматриваться в портрет Маяковского. Подошла Зина, отворила перед ним дверь, снова сказала:

- Иди.

И вот они опять вступили в этот обширный коридор с тусклой лампочкой на телефонном столике.

Теперь по-другому Зина шла, она явно старалась, чтобы никто в квартире ее шагов не услышал. Пойми ее, отчего вдруг испугалась, когда как раз бояться больше и нечего. Себя испугалась? Своей недавней решимости? То была святая решимость. Но она покинула ее. А пришла девичья эта стыдливость, боязнь, что кто-то услышит, кто-то осудит. Это были крохотные, жалковатые соображения.

Зина тихонько отвела язычок замка, неслышно отворила дверь на лестницу и снова повторила, не поднимая на Геннадия глаз:

- Иди.

Опять он пересек Сретенку и снова не там, где полагалось, проскочил под носом летящей машины.

А ведь он мог остаться у нее, у этой маленькой Зины. Мог остаться. Как странно она сказала: "Мне бы только не влюбиться в тебя..." Испугалась, что влюбится? Она - в тебя, ты - в Аню. Эта мука, эта боль в тебе, когда все в тебе там переворачивается, когда ни о чем другом не можешь думать, а только о ней, - это и есть любовь? Они сейчас там, за этими экранами, лишь тусклый пропускающими свет из комнат на улицу, почти и не свет, какой-то почти туман. Она сейчас там, в том тумане. Что поделявает? Эта мука, эта боль, эта нестерпимая боль, а он к боли был приучен, когда играл в хоккей, но разве то боль была, смешно даже сравнивать, так что же, эта боль - это и есть любовь? Она прогнала его. Он забыл об этом. Она с другим сейчас. Он прощает ей это. Он даже не смеет ее хоть в чем-то винить. Она во всем права. Взглянуть бы на нее, только бы взглянуть. Услышать бы ее голос, только бы услышать. Где-то в городе шли фильмы с ее участием. Сходить, поглядеть? Их тут кинотеатр "Уран" был на ремонте. Жаль, вот в него бы он сейчас пошел. Рядом - она, а вот и фильм с ней. А далеко отойти от нее он сейчас не мог. Не понимал, что не может, просто не мог - и все. Он и к ребятам пойти не мог. Пивбар был слишком далеко от этих заэкранированных окон. От этой двери, за которой дверь и еще дверь с бесчисленными замками. А вдруг эти замки защелкают, двери распахнутся, Анна Лунина появится на пороге. Он должен быть здесь. Он тогда проводит ее домой. Не разрешит, он пойдет следом. Вечер начался, как же не проводить.

Замки не щелкали, двери не отворялись. Он все простил ей, лишь бы она вышла. Ему и не за что было прощать ее. Кто он ей? Какие у него права на нее? Случайная встреча. Он ходил и ходил, окоротив свой переулок, доведя шагов до тридцати. Тридцать шагов - вниз, тридцать шагов - вверх.

В восемнадцатом отделении милиции, в глубине подъезда горел свет. Там слышались голоса. Кто-то там смеялся, в милиции. Весело им там. Славные ребята, веселый народ эти милиционеры. У него никогда с ними не было никаких столкновений. Сперва спорт, потом армия - они его подтянули все-таки, хотя парни из Последнего переуллка слыли народом не из робкого десятка. Он и не был робким да тихим. Но обходилось, конфликтов у него с милицией не было. Но что же это они? Как же это они? Чуть кто выпил, они здесь. Мелкий воришка попался, они тут как тут. А вот рядом, у них под боком, а вот этот Рем Степанович, Батя этот, а он им глаза не колет. Из начальников, потому? Не положено замечать? Эх вы, веселый народ!

Он ходил и ходил - тридцать шагов вверх, тридцать шагов вниз.

Из подъезда милиции вышел знакомый старший лейтенант. Опять на дежурстве?! Вот это работяга!

- Прогуливаешься перед сном? - спросил старший лейтенант и благожелательно улыбнулся.
- Ага! - сказал Геннадий. - А вы, смотрю, все дежурите?
- Смотри, смотри, - покивал старший лейтенант.
- Не надоело? Какие у нас тут приключения?
- Никаких, это точно, - согласился старший лейтенант и опять улыбнулся. Сутками тут торчит, а улыбается, не устал.
- Зоркий вы народ, я смотрю, - сказал Геннадий. - Чуть что серьезное и вас нет. Успеваете удалиться.

- Зоркий, это точно.
- Чуть какой пустяк, вы тут как тут. Успеваете набежать.
- Служба, а как же. - Его невозможно было рассердить, он улыбался, не устал совсем.
- Шли бы спать, старший лейтенант. Гляжу, вторые сутки на ногах.
- Глазастый. - Чуть-чуть только построжал старший лейтенант. - Гляжу, и ты все тут мелькаешь. Не устал еще?
- Устал. Пойду лягу пораньше.
- Вот и хорошо, одобряю, - сказал старший лейтенант.

Геннадий свернул к своему дому, еще раз глянув на окна, за которыми мерцал туман. Не выйдет она. Не жди, не выйдет. Чуть было не толкнулся к дому Кочергина, чуть было не решился на стыдное для себя: взять да и напроситься в гости к ним. Нет, удержал толкнувшееся тело.

Вбежал в свой подъезд. Рванулся вверх по лестнице, забыв о лифте. У двери, когда только открывал ее, услышал дробный постук теткиной машинки. Она еще пока не разговаривала с ним, не ждала так рано. Он вошел в коридор, вошел в комнату.

- Тетя, - попросил. - Только ни о чем меня не спрашивай.

Вера Андреевна даже не оглянулась в ответ, лишь простучала дробно, но он ее научился понимать, в стрекоте этом слышались недавние слова из очередной педагогической беседы "под портретом": "Изволь, мой друг. Да ты уже и не маленький, чтобы отчет мне давать. Не хочешь, не делись"...

Он не хотел делиться. Он раздвинул ширму у своей тахты, был тут у него свой угол, стол вот крошечный, но крепкий, приспособленный под верстак, полка книг над столом, книг еще из детства, читанных-перечитанных, полка, где и инструменты лежали вперемежку с книгами, и этот вот транзистор с кассетным магнитофоном, жалковатый ящичек, если по правде-то. И вот еще пятно на стене от сорванного картона с фотографиями. Глаза бы не глядели на все это! Разулся, лег, закинув руки, закрыл глаза. Анна Лунина медленно вступила под веки.

24

До одиннадцати часов, до условленного времени, когда должен был подойти к бару на Сретенке Белкин, оставалось минут с пять. Этот бар, вернее, кафе с баром, и открывалось в одиннадцать. Геннадий уже давно был тут, прохаживался у дверей, ждал открытия, ждал Белкина, пытаясь в эти минуты, оставшиеся до встречи, что-то там такое обдумать, придумать. Он вот все же явился сюда, хотя и крикнул Кочергину, что и не подумает заниматься его делами. Но он сейчас не его делами собрался заняться, а Аниными. Еще ночью, когда вертелся, то засыпая, то просыпаясь, все ведя свой разговор с Анной Луниной, какой-то все в тупик приводящий разговор, лишь начало было, а потом - тупик, стена в разговоре, никаких слов там не было, в том тупике. И разговор снова начинался. "Аня, пойми... Он у тебя..." Она обрывала, не крича, печально, но все одним только словом: "Замолчи!.." А замолчать он не мог, он обязан был ей все объяснить. И он опять начинал: "Аня, пойми... Он у тебя..." Этот разговор извел его, ночь извела. Наутро само собой пришло решение встретиться с Белкиным. Павел Шорохов... Некий змеелов... Некий бывший

директор гастронома... Сидел... Выпустили... Вернулся, чтобы все распутать... Мститель?.. Что это за человек, нагнавший такого страха на самого Кочергина? И почему так важно знать Кочергину, жив Шорохов или умер? Ясность нужна? В тех темных делах, где орудовали эти клочки - Митрич, Шаляпин, Лорд, сам Батя, - понадобилась ясность. Что ж, он поможет Белкину а у него какая кличка? - раздобыть эту ясность. Не для них, не для клочков, а для Анны Луниной. Пусть узнает всё до конца. Он ей выложит правду, как бы она ни кричала на него, как бы ни молила: "Замолчи!.." Если жив, он к ней этого Павла Шорохова приведет. Пусть расскажет! Если и это не поможет, он к ее матери придет, ей расскажет. Какое тебе дело, могут спросить? Ты что, из милиции? Он ответит: "Я не из милиции, я ее люблю". Так он любит ее?! Эта мука, эта все время боль, будто измолотили тебя клюшками, - это любовь? Как ни называй, зачем эти названия, он здесь, вот у этих дверей в бар, он ждет Белкина, он готов на все.

Толстая барменша, приветливо покивав из-за стекла, отворила дверь.

- Заходи, Гена, сделаешь почин! Ты какой-то сегодня строгий.

Верно, он по-строгому оделся, собираясь сюда. Свой ремень солдатский со звездой затянул, как в армии затягивал, на ту же отметину, хотя с армейской поры и поприбавил в весе. Он старые армейские брюки натянул, крепко схватившие ноги, не зад, как джинсы, а ноги. Рубаху тоже сменил, то была защитного цвета армейская рубашка, не парадная - полевая, с невыцветшими полосками от погон. Вчерашний солдат стоял на Сретенке у дверей кафе, примостившегося возле кинотеатра "Уран". Пришел, видно, в кино, не зная, что кинотеатр "Уран" на ремонте. Да и откуда ему знать, если он в армии служил. Такой он тут стоял, так о нем думали прохожие, сочувственно и уважительно поглядывая на него. Ну а если не в кино, так можно и в бар заглянуть. После армии-то можно парню и чуть-чуть послабление себе сделать. Вон какой худющий, со впалыми щеками.

- А ты мне такой еще больше нравишься, - оглядев его, сказала толстая барменша. Женщины, хоть и нет никакой корысти, оглядывают, рассматривают молодых парней, мужчины, даже и в старости, хоть тоже нет никакой корысти, вернее, надежды, оглядывают, рассматривают молодых женщин - заряжаются и те и те от тех и тех. И чужая молодость, стало быть, бодрит.

- И ты мне такая нравишься, в юбке, а не в джинсах, - сказал Геннадий входя. - Господь вам определил юбки, вот их и носите.

- А некоторым я, напротив, в джинсах нравлюсь, - сказала барменша, идя к стойке самой привлекающей из своих походок. - У вас, у мужичков, вкусы разные. Кому кофе подавай, кому чай, кому виски, кому джин. Хочешь попробовать, у меня джин появился? Сорок пять градусов и елкой пахнет.

- Нет, мне пить нельзя, деловое свидание.

- Тогда кофе?

- Тогда кофе, сестренка.

- Покрепче, солдатик?

- Чтобы в слезы.

В дверях стоял Белкин. Что с ним? Белый, нет, серый такой, оттого, что бежал, боясь опоздать? Да он и не опоздал, на часах было всего пять минут двенадцатого. И он, стоя в дверях, дышал не тяжело. Казалось, он вообще не дышал. А если дышал, то так оробело, что ничего в нем от вздохов и выдохов не шевелилось. Замер в дверях. А вот глазки бегали,

обшаривали.

- Пришел? Это хорошо. Я думал, не придешь. - Белкин пробежкой подскочил к столику у двери, где сидел Геннадий. Не отодвинув кресло, на что, видимо, не было сил, он бочком втиснулся, упав в сиденье. - Мне бы выпить!.. Мне бы коньячку! - Он чуть возвысил голос, обращаясь к барменше.

- Сколько? - спросила она.

- Фужер для начала!

- Так ведь нам же делом заниматься, - сказал Геннадий. - Бегать, узнавать.

- Бегать, узнавать не нужно. Все узнано. В том-то и дело, что все узнано. - Белкин закрутил головой, озираясь. - Хорошо, что никого тут нет, не люблю, когда людно. Хорошее местечко подобрал. - Он приглядывался, оглядывался, что-то пытается вызнать про это крошечное, все как на ладони помещение. - Смотри, под кинобар оформили. Кинокамера на стене и в камере лицо оператора. Находчиво! А светильники из кинолент как бы сплетены. И вон земной шар, а в нем опять же кадрик с перфорацией. Кино - владеет миром, так? Да только не так!

Барменша принесла полный фужер коньяку, чашечку кофе, стакан минеральной.

- Так?

- А это вот так! - Он даже не поднял на нее глаз, а сразу вцепился в фужер и стал тянуть из него, захлебываясь, мучительно глотая. Выпил, как алкаш последний, губы неряшливо обтер рукавом, поднял наконец на женщину глаза. Она рассматривала его внимательно, построжав, без сочувствия. Этот клиент был тут новым для нее человеком, и он не внушал доверия. А когда такое вот крошечное на руках кафе, когда почти все, кто тут бывает, где-то рядом и живут, каждое новое лицо настораживает. Глядишь, сбежит такой не заплатив. Или перепьется, набезобразничает. Поглядела, поглядела и отошла, недоуменно пожав плечами. Спросила уже из-за стойки:

- Геннадий, это и есть твое деловое свидание?

- Ага.

- Уже наболтал?! - вскинулся Белкин. - Какие дела?! Какие у нас дела?! Всё с делами! Отдыхаем! Воскресенье! Милая, попрошу еще фужерчик. Коньяк, как известно, четный напиток.

- Это как понять? - спросила барменша.

- Рюмки мало, а надо две.

- Так ведь не рюмками, фужерами себе помогаете.

- Значит, нуждаюсь в такой норме. Одному таблетки хватает, чтобы заснуть, другому нужна целая пригоршня.

- Без таблеток надо спать, - барменша принесла новый фужер.

- Если уж спать без таблеток, - осклабился Белкин, - так уж тогда с кем-нибудь. - Он было собрался повеселеть, но вспомнил про что-то испуганно, про такое, что не пускало его к веселью, а вспомнив, опять посерел, не помог коньяк. Он схватился за фужер, поднес к губам.

- Погоди, - отвел его руку Геннадий. - Ты так вмиг накачаешься. Что случилось-то, что узнано?

- Что?.. - Белкин завертел головой, за стекло пыльное на улицу глянул, подозревая даже скользивших мимо стекла по Сретенке прохожих. - Что?.. Дай сперва выпить!

Геннадий отвел руку, и Белкин опять присосался к фужеру, мучительно заглатывая забвение.

Геннадий ждал, разглядывая этого посерелого человека, которого знал всего вторые сутки, который за эти всего двое суток постарел лет на десять, развалился как бы, оползнями пошел, как трухлявая стена под штукатуркой, чуть тронь, и валиться начинает, расползаться, один сор да пыль от нее.

Белкин дохлебал из фужера, опять обтер губы рукавом, сам себя нарочно унижая, носом вот шмыгнул, ну, алкарь, и все тут, плечики приподнял, будто ему холодно сделалось. Вживался в другую для себя жизнь, готовился к ней?

- Что?.. - переспросил. - А то, что нашлись люди, узнали про Павла Шорохова... Вчера вечером встреча у меня вышла... Узнали...

- Что - узнали?

- А тебе-то какое дело? - насторожился вдруг Белкин. - Информация не для тебя, для Кочергина.

- Я бы передал.

- Найдется кому передать. Не спеши, не гони картину. Еще, что ли, рюмочку?

- Будет, пожалуй, - сказала из-за стойки барменша.

- Мы не в Финляндии, мадам. Это там, если клиент подпил, к нему подходит бармен и говорит: ваше присутствие здесь, многоуважаемый господин, нежелательно. Вот как, нежелательно! Но - многоуважаемый! А ведь я бывал в Хельсинки. Много раз. Не веришь? Не верь! Я и сам уже не верю. В Штатах бывал. Это тебе не Финляндия. В самих Штатах. Трижды! Не веришь? А я и сам себе не верю. В Японии почти год прожил. Не веришь? Эй, милая дама, еще фужер! Я не пьян, меня пьяным невозможно сейчас сделать. Я болен, простуда во мне горит. Лечусь! Не тяни, умоляю!

Барменша медленно шла из-за стойки, большая, грузноватая, с нахмуренным лицом. Каждый шаг ее выражал сомнение. Не тот, не тот клиент забрел к ней в кафе. Но все же она несла этому пьянчуге с серым лицом рюмку коньяку. Не фужер, а рюмку.

- В последний раз, - сказала она, ставя на стол рюмку. - Слишком уж вы спешите, гражданин. Гена, ты откуда его взял? Шли бы вы на воздух. День-то нынче какой расчудесный.

- Нет, вы это зря, день сегодня не расчудесный, - сказал Белкин, уже нетвердо выговаривая слова, стараясь, заботясь, чтобы твердыми они возникали. - Сегодня день черный. Для меня, для Олега Белкина. Последний день Помпеи! А ведь я и в Италии был, в Неаполе. На Везувий всходил. - Он вдруг всхлипнул.

- Ну вот, последствия невоздержанности начались, - сердито сказала барменша. - Гена, сделай милость...

Вдруг Белкин выпрямился, растянул вдруг губы в улыбке, вроде бы как мигом отрезвел. Глаза его остановились на дверях, поширились, вбирая появившихся в дверях рослых,

широкоплечих мужчин. Они входили в узкую дверь один за другим, тяжело ступая, чинно ступая, молодыми, сильными, раздатыми от частого пивопития животами вперед. Крепкие лица, длинные могучие руки, узковатые лобики, маслянистые челочки одинаковые, на лобик наведенные. Они одинаково были одеты, во что-то спортивное, по-летнему легкое. Один... Второй... Третий... Некое "трио"! Тройка нападения? Нет, такие пузаны в хоккее не играют. Тяжеловесы? Нет, всё же они были в далеком прошлом спортсменами, если вообще были ими. Велики, дряблы были их животы. Сеточка мелких морщинок была у каждого под глазами. Попито слишком много. Но силенка осталась, убереглась. Когда-то всё же не чужды были спорта. Лет за тридцать каждому. Тренеры чего-то там? Скорее всего в боксе. У них были вдавленные боксерские носы.

Один... Второй... Третий... Войдя, каждый шлепался в утлое креслице у столика, где сидели Геннадий и Белкин. Не спросясь садились. Столик был рассчитан на трех человек. Им это не помешало. Хватали кресла от других столиков, легко, словно легче воздуха были эти кресла, подбрасывали их к себе под тяжкие зады. Уселись, стеснились, сдвинув тяжелые плечи. Один из "трио" спросил, кивнув на Геннадия:

- Этот?

- Он самый, - угодливо приподнял задок Белкин.

- Вот что, парень, беги за Кочергиным, пускай сюда идет, - распорядился один из "трио". Тот ли, другой ли говорил из них - не понять было. Они цедили сквозь губу слова, глуховато, неразборчиво, давя звук в горле.

- Зачем это я побегу за ним? - спросил Геннадий. - Он тут рядом живет, сами и сходите.

- Рассуждает, - сказал один из "трио", одобрительно положив Геннадия на плечо тяжеленную руку.

Геннадий повел плечом, скинул руку.

- Задирается, - сказал кто-то из "трио".

- Как же, солдат, - сказал кто-то другой из них или же все тот же самый. - Дамочка! - окликнул.

- Нам бы чего покрепче! Но самую малость! Мы сюда не пить пришли, а беседовать!

- Может, тогда кофейку? - спросила барменша. Голос у нее был тревожный.

- От кофейка нас в сон клонит. Что там у тебя, джин? Тащи бутылку. Водки ведь нет? Тащи джин. В нем сорок пять градусов как-никак.

- Не много ли, если беседовать пришли? - Барменша и улыбалась приветливо этим пузанам плечистым и тревожилась, не скрывала тревоги.

- Тащи, тащи! - приказал кто-то из "трио". - А ты пока бегом за Кочергиным. Скажи, мол, новость для него имеется.

- Вот сами и скажите.

- Мы не просим, мы тебе велим, парень.

- Сбегай, Гена, сбегай, прошу тебя! - помолил сероликий Белкин. - Ну что тебе стоит?

- Вот и сходите, - сказал Геннадий, понимая, чувствуя, что просто так тут не обойдется, что этот звон, начавшийся у него во всем теле, предвестие это зря не приходит.

- Дурная башка, - миролюбиво сказал один из "трио", - если бы нам точно знать, что его домик не на присмотре, мы бы к тебе не обращались, сами явились бы. Но Белкин говорит, что ты туда вхож, что ты тут и проживаешь, вот тебе и сподручней. Вошел - все привыкли, вышел - всем до лампочки. Понял? Растолковал тебе? Ну беги!

- А зачем? - спросил Геннадий. - Зачем вам понадобился Кочергин?

И тут вошли в бар Дима, Славик и Колюня. Милые, родные, распрекрасные эти парни! Друзья! Вот они! Пospели вовремя! Как бы почувствовали, что нужны ему! А друзья потому и друзья, что знают, когда они нужны! Гляди ты, и Зина с ними! Ах ты маленькая! Ах ты бананчик родной!

Сели за столик напротив. На него, на Геннадия, ноль внимания. Зина крикнула весело:

- Сестренка, кофейку нам, водички сладенькой!

- Пойдешь?! - задавливая звук в горле, грозно спросил Геннадия кто-то из "трио".

- А вы объясните толком, зачем он вам нужен! - громко сказал Геннадий.

- Да задолжал он нам. Мы с Колобком дело имели, но он укатился... А нам уезжать срочно нужно. Уразумел?

- Нет! - громко сказал Геннадий. - Муть какая-то! Ваши дела, не мои дела! А Колобок ваш не укатился, а в наручниках уехал!

- Тихо ты! - обмер Белкин.

- Он что, он у тебя кто? - спросил грозным шепотом у Белкина один из "трио". - Говорил, что человек Кочергина.

- Сам не пойму, кто он. Прилепился. Вроде посыльного.

- Прилепился... Вроде... Ты к кому нас привел? Время нашел для шуточек?! Иди, парень, мы добрые, но...

- Сами, сами, я у Кочергина не посыльный! А у вас - и подавно!

- Тихо ты! - давя слова, прошипел один из "трио". - Ты что, нарочно орешь?!

А те, за столиком напротив, ноль на них внимания. Беседуют тихонько о чем-то своем, попивая кофе и сладенькую водичку. Только Зина нет-нет да скосит глаза, тревожится. Не знает она, как в таких случаях надо вести себя. А парни знают! Сейчас... Сейчас... Сейчас...

- Пойми, Гена, ты пойми, срочно нужен нам Рем Степанович! - увещевая, зашептал Белкин. - Позарез нужен! Ребята, я ему объясню, раз уперся, он все равно кое-что знает, все равно потом узнает, тот же Кочергин ему расскажет. Болтлив стал.

- Ну, валяй, объясняй, только по-быстрому, - разрешил кто-то из "трио". - Другая бы ситуация, я бы ему объяснил...

- Гена, дело в том... - Белкин совсем перешел на шепот, губы только шевелились, а слова лишь угадывались. - Дело в том... что... Павел Шорохов... умер...

- От удара ножом?! - спросил Геннадий громко, вызвнив голос.

Вот оно что, умер Павел Шорохов! Убили его тогда! Вот она - ясность, какой так доставало Кочергину. Он думал, что это Шорохов ему мстит, живой Павел Шорохов, а того не было в

живых, умер, убили.

- Ты нарочно кричишь? - спросил кто-то из "трио". - Ты что, заложить нас собрался? Еще не нашелся человек!..

Убили Павла Шорохова! Один из этих, из этих вот троих, ткнул в него ножом - и он умер. Кто говорил, что жив, кто говорил, что умер. Да, умер! Убили! Вот она - ясность! Вот они - убийцы!

- Он что же, Кочергин, он вас и послал убивать Шорохова?! - громко, так громко, что и его друзья обернулись, спросил Геннадий. - Кто из вас его ножом ткнул?! Ты?! Ты?! Ты?!

Один из "трио" протянул громадную ручищу и ткнул ее в лицо Геннадию, чтобы прихлопнуть ему рот.

Вот оно! Дождался! "Аня, за тебя, за тебя!.." - выкрикнулось в нем.

Даже не привстав, некогда было вставать, стальным рычагом выбросил вперед кулак Геннадий Сторожев, точно, четко всадив его в рыластый блин перед ним. Хорошо попал кулак, врезался в лязгнувшие зубы.

"Трио" взорвалось, отлетел столик, разлетелись кресла, вскинулись могучие, как гири, кулаки. Опустятся - и ничего не останется от этого дурачка в солдатской форме.

Но не опустили кулаки, как-то не так все получилось, что-то помешало им, вторглась откуда-то иная сила. А это Дима, Славик и Колюня подросли. Тоже отлетел у них столик, разлетелись кресла. И вот не один всего солдат стоял перед тремя убийцами и этим сероликим, а четверо парней стояли, сбив плечи. Сретенские то были парни. Из одной команды. Вес не тот? Сохлые - они крепче бьют!

"Трио" поняло, "трио" знало про это, они мигом смекнули, что за парни встали перед ними. Один из "трио" потянул было руку к поясу под курткой, туда, поглубже, где и ножичек может укрыться. Но остроглазый Славик поймал это движение - глядь, и у него ножичек в руке, безобидный такой, самоделочка, но с пружинкой, - вынырнуло тоненькое лезвие, колющее и на глаз.

- Так?!

- Так?!

- О-о-о-й! - протяжно завывала барменша. - Девушка, беги за милицией! Они убивать хотят! О-о-о-й!

Нет, Зина не побежала за милицией. Она встала рядом со своими парнями. Ну что, что маленькая, что, что женщина?! Она не отступит, не дрогнет, пока жива. Сретенская девчонка.

А тут вдруг засвистел, засвиристел милицейский свисток, за пыльной витриной мелькнули люди в милицейской форме, встали в дверях. Поспели все-таки!

Впереди был знакомый Геннадию старший лейтенант. Сейчас он не улыбался и не похуже было, что этот человек вообще умеет улыбаться. Он подошел, схватил одного из "трио" за руку, вывернул ее умело, вторую схватил, что-то негромко лязгнуло и - что это? - оказался плечистый пузан в наручниках. Еще один подскочил милиционер, еще один. Трудная работа, запыхались слегка, но быстро всё провернули. Лязг да лязг - и "трио" оказалось в наручниках. Белкина сковывать не стали. Кого было заковывать-сковывать? Он в своем мешковатом костюме так вдруг уменьшился, так осел-провис, что усомниться можно было, а есть ли у этого человека кости.

- Ножичек потом сдашь, - строго сказал старший лейтенант Славику. - Вот так, друг, такие дела, - сказал он Геннадию и попытался улыбнуться, но не сумел, запеклись губы, переволновался все-таки старший лейтенант. - А ты как думал! Убийцы это!

- Я это понял, - сказал Геннадий, слизывая с пальцев, кровь, разбил руку, рад был этому. Зине показал, гордясь, свои ссадины.

- Не все ты понял. Выйди, пройдишь по переулку. Допоймешь...

25

Убийц в наручниках и мешок этот серый по имени Белкин вывели на Сретенку и сразу за угол с ними свернули, в Последний переулок, в восемнадцатое отделение милиции повели. Миг всего и пробыли эти люди на людной Сретенке, промельк странный, даже дикий какой-то, зверей вели, убийц, но их заметили, уже стал сбегаться народ. Потому и заметили, что странным и невероятным даже было это шествие людей в наручниках в окружении милиционеров, строголиких, напрягшихся. А эти, "трио" это, в шоке они находились, в нокдауне тяжелейшем. Им еще досчитывал рефери, выкидывая пальцы, свой счет до десяти. И они замерли, загипнотизированные этим счетом. Не очухаются, будет нокаут. Похоже было, что им не очухаться, что - всё с ними, хотя и передвигают ноги, идут куда-то, куда их ведут, потом поедут, куда повезут. Но - всё с ними. И с Белкиным - всё. Этот тихонько поскуливал, не плакал, не произносил слова, а скулил, ужимаясь в самого себя.

Геннадий вышел из кафе, хотел было нагнать "трио", чтобы поглядеть, какой след остался на лице того мордатого, в которого угодил его кулак. Пальцы у Геннадия стали быстро распухать. Ну а у того как с личиком?

Зина нагнала Геннадия, взяла за локоть.

- Больно тебе? - Она поморщилась, переживая. - Пойдем в аптеку, тебе там забинтуют руку.

- Ничего, ему больнее.

Не нагнать было этих гадов, толпа набежала, отгородила их от Геннадия.

- Что ж, Зинок, пошли в аптеку, - сказал Геннадий. - А вдруг у него слюна ядовитая. - В нем еще не улеглась ярость, он еще в драке был, тело его, жаль, не додралось, сам он, жаль, не додрался. - Ребята! - крикнул он своим друзьям, Диме, Славику, Колюне (они шли в толпе, впереди). - Спасибо вам! Я сейчас, только руку забинтую! Спасибо вам! - Ему радостно было громко выкрикивать эти слова, радостно, что на его голос оглядывались, радостно, что рядом шла Зина, осторожно поддерживая его под руку. Возбуждение не унималось в нем. Он еще чего-то ждал. А чего? Сворачивая к аптеке, он глянул поверх голов - туда, в глубь своего переулка, туда, где наискосок от его дома укрылся за тополем дом Кочергина. Там никого не было, все, кто был в переулке, сейчас сбегались, сходились к милиции. Там ни души не было, но там стоял напротив дома Кочергина небольшой серого цвета фургончик, такой совсем, в каком развозят мелкие партии товара, ящички всякие с дефицитом, с икрой там, с осетриной в томате. Такой совсем фургончик, но только с одной странностью: зарешечено у него было оконце над задней дверью. Тот самый, в котором увезли Колобка?! Геннадий рванулся, побежал.

26

Дверь на лестницу в доме Кочергина была распахнута, кто-то даже камень подложил, чтобы она не затворилась.

Дверь с лестницы в сени квартиры Кочергина тоже была распахнута и тоже подперта камнем.

Распахнута была и дверь со множеством замков, впускавшая в кухню.

Геннадий переступил порог, вошел в кухню, где вся мебель, вся утварь эта поблескивающая были озарены пронзительным дневным солнцем, ворвавшимся в кухню через окно, - экран, загораживавший окно, был сдвинут в сторону.

В кухне никого не было, но дверь в гостиную была раздвинута - обе створки до упора.

Там, в гостиной, Геннадий сперва увидел двух спортивного вида мужчин в строгих, темных костюмах, тех самых, что повели тогда через магазин в наручниках Митрича.

Потом Геннадий увидел Рема Степановича. Сперва не понял ничего. Почему он на полу лежит? Почему не двигается? Почему эти двое склонились над ним? У одного из них повисли в руке наручники.

Ничего еще и не поняв, Геннадий шагнул в гостиную. Тут тоже пронзительно светило солнце, были отодвинуты от окон экраны.

В углу, в самом дальнем углу, словно спасаясь там от пронзительных лучей, спиной прижавшись к стене, стояла Анна Лунина. Замершее лицо, замершие глаза. Она смотрела на лежавшего на полу Рема Степановича, ужасом были поширены ее глаза. Ужасом!

Кочергин лежал на боку, подтянув ноги. Был он в своей римской тунике, с багровой по подбою полосой, в праздничной одежде патриция. А лежал, жалко подтянув к животу ноги, недвижно лежал. Рядом с ним, на озаренном солнцем паркете, валялся крошечный, выточенный из дерева футлярчик, флакончик этот с нарисованной на нем розой, в котором помещается крошечная же ампула со знаменитым болгарским розовым маслом. Такой флакончик стоял у его тетки на туалетном столике - сколько себя Геннадий помнит, столько он там и стоял. Крышечка с флакончика была сдернута, откатилась к дивану.

Что же, что же случилось? И зачем тут эта деревяшка на полу, этот жалкий сувенирчик?

Ужас застыл в глазах Анны Луниной. Двое в штатском распрямылись, отошли от Кочергина. Хоть и строгими, замкнутыми у них были лица, жила в них сейчас растерянность. Они показались Геннадию врачами из "скорой", не поспевшими к больному. Приехали, а он уже умер.

Умер! Дошло до сознания! Рем Степанович Кочергин был мертв.

За спиной появился знакомый старший лейтенант, разучившийся улыбаться.

- Что тут у вас?

- Отравился, - сказал тот, у кого в руке повисли наручники. - Попросил время, чтобы переодеться, и... Нет у нас такого опыта... Кто мог подумать... Циан, наверное... - Он поглядел на Анну Лунину, виновато развел руки, тихонько звякнули наручники.

- Нет... Нет... - шевельнулись у нее губы. - Нет... Нет... Я не верю... Нет...

Старший лейтенант вошел в комнату, глянул на Лунину, глянул на Геннадия, сказал ему:

- Уведи ее.

Геннадий подошел к ней, взял за повисшую руку. Она пошла за ним. Она его не узнала, не впустила в застывшие глаза. Кто-то взял ее за руку, кто-то повел, она - пошла. Пересекли комнату, прошли через кухню. Пока можно было, видно было, она не выпускала из глаз человека, лежащего на полу, в нелепой этой тунике, с ногами, подтянутыми к животу.

Вышли из дома, вступили в переулок.

Теперь и здесь, вокруг этого фургончика, начал собираться народ. У милиции была толпа, а здесь сошлись немногие, но это всё были здешние жители. Вон Клавдия Дмитриевна со своим Пьером, вон и морячок подбегает, с прыгающей следом на цепочке зеленой обезьяной. Зверинец какой-то! Но это были тоже здешние обитатели.

Была здесь и Зина, стояли рядом с ней и его три друга.

Геннадия и Анну Лунину пропустили, расступились перед ними.

Он вел ее, держа за руку, не зная, куда ее вести, знал лишь, что надо как можно дальше отойти с ней от этого дома, от этого ужаса.

Вдруг она остановилась, начала рыться в своей сумочке, судорожным движением выхватила из нее желтенький футлярчик из дерева с нарисованной на нем большой болгарской розой. Такой же футлярчик, что и там - на полу. Она сдернула крышку. Губы у нее тряслись, побелели.

- Не смей! - крикнул Геннадий. - Аня, не смей! - Он схватил ее за руку, он упал перед ней на колени. Он молил ее, молил: - Не смей! Не смей! Не смей! Кочергин виноват! Из-за него человека убили!

Он был сильнее, он вырвал у нее из руки эту проклятую штуковину. Он вскочил, швырнул футлярчик на мостовую, каблуком раздавил его, растер. Она покорилась, заплакала, очнулась.

К ним подбежали Зина, друзья, обступил народ здешний. Все молчали. Смотрели. Изумленные у всех были глаза. Не привыкли мы к трагедиям в наших переулочках. В кино их смотрим, в театрах. А так, чтобы у себя, возле дома, - не привыкли. Да и не нужно привыкать, зачем же. Но вот случилось нечто страшное - и люди изумились, притихли. И потому еще изумились и притихли, что этот паренек простой, что их Гена Сторожев был участником этой трагедии, что он был велик сейчас, когда стоял на коленях, что он спас сейчас у всех на глазах женщину. Не для себя, это было ясно. Кстати, о Кочергине. О нем что же сказать? Жизнь за жизнь...

Зной стоял в тихом московском переулке. Июль шел. Случилось это все в воскресенье.

Москва, 1983 год.